

Борис Васильев

Глухомань



Борис Львович Васильев

Глухомань

Текст предоставлен издательством «АСТ»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134147

Борис Васильев. Глухомань. Отрицание отрицания: АСТ, Астрель;

Москва; 2011

ISBN 978-5-17-064892-4, 978-5-271-26793-2

Аннотация

В романе «Глухомань» Борис Васильев, автор известных книг о князьях Древней Руси, обращается к современности. Его герои живут «там, во глубине России», где «вековая тишина», но их не минуют все самые значительные события, потрясшие страну в 80-90-е годы, – Афганская война, перестройка, передел собственности...

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
1	5
2	13
3	16
4	21
5	24
Глава вторая	29
1	29
2	31
3	38
4	41
Глава третья	48
1	48
2	50
3	53
Глава четвертая	58
1	58
2	66
3	68
4	70
Глава пятая	75
1	75

2	77
3	81
Глава шестая	87
1	87
2	92
3	94
4	95
Глава седьмая	99
1	99
2	103
3	106
4	109
Глава восьмая	115
1	115
Конец ознакомительного фрагмента.	123

Борис Васильев

Глухомань

Часть первая

Глава первая

1

Хуже всего переваривается пуля из винчестера времен англо-бурской войны. Особенно если она до сей поры сидит в вашей заднице, уж это я знаю по личному опыту. Не верите?.. Тогда абзац. Можно ли на макаронной фабрике делать патроны? Отвечаю: можно, если калибр макарон 7,62. Фабрику именно такого калибра открыл товарищ Микоян Анастас Иванович еще до войны в поселке при станции Глухомань. В цехах торгово-витринного назначения расфасовывали макароны, а за ними, в глубине территории, за дополнительной колючей проволокой и еще более колючей охранной, тем временем преспокойно штамповали патроны самого привычного образца. В сорок первом на нашу станцию начали прибывать эшелоны из Тулы со станками оружейных

заводов. И быстро наладили производство знаменитых винтовок времен Гражданской войны калибра 7,62, пятизарядных образца 1891/30 г. Потом война кончилась, а производство осталось. За это поселок Глухомань получил статус города и даже стал районным центром всесоюзного макаронного значения. О винтовках с патронами в те времена как-то не принято было говорить.

Вот туда-то меня и направили после окончания института. В направлении было указано, что назначаюсь я на должность мастера, но сначала обязан зайти в военкомат по месту прописки. Я зашел, предъявил диплом и назначение (а может, наоборот, не помню) и вышел старшим техником военной приемки в звании лейтенанта с документами на получение соответствующего армейского снаряжения. И уже в полной военной форме прибыл в город Глухомань на макаронную фабрику имени товарища Микояна.

Конвейер, выбрасывающий цинковые патронные ящики, лязгал сочленениями в одном цехе, винтовочки выпускали в другом, комплектация и упаковка – в третьем и четвертом, а остальные, как говорится, сверлили дырки в макаронах. Я, как представитель заказчика, был обязан отстреливать по одной винтовке из каждого десятка готовой продукции. Если при этом винтовка не взрывалась, я подписывал акт приемки, винтовки и патронные цинки запаивали, а я шел пить спирт к начальнику ОТК. Жизнь шла под сплошной винтовочный грохот, столь же однообразная, как сами патроны.

Я малость озверел от ежедневной пальбы, скоропалительно женился на смазливой макаронщице Тamarочке и обзавелся семьей, жильем и друзьями, как то и положено в нашей Глухомани ради статуса настоящего мужика. Уважающего выпивку на троих и баньку с паром, веничком и пивом. Вам бы мужские разговоры послушать в этой баньке с тем еще парком... Сразу бы абзац запросили.

Однако в Глухомани я никого не знал, а потому даже такая анекдотно-матюгальная сфера как-то сближала, что ли. Ну, а через нее, сферу эту, я и в иные глухоманские сферы попал. Вместе с Тamarочкой.

Сделаем абзац для перекура и обрисуем некие фигуры, занимающие в Глухомани некие кормящие кресла. Впрочем, я их наблюдал сидящими на стульях вполне советского производства, поскольку все встречи проходили за столом в непрерывнейшем порядке.

Напротив нас – а мужья сидели рядом с женами, поскольку «так полагалось» – всегда почему-то оказывался местный зубной техник Николай, имея по правую руку супругу Виолетту. Дальше по порядку шел мастер куаферного дела Константин с женой Анютой, завмаг «Канцелярских товаров» Тарасов со своей Лялей, а завершал все это директор совхоза «Полуденный» Игнатов Василий Федорович с женой Ларисой. Она славилась тем, что после третьей рюмки начинала петь весьма двусмысленные частушки, от которых наши дамы стыдливо опускали глазки и несмело хихикали. Все это-

го момента ждали, и я тоже ждал, но потом почему-то стал ощущать какой-то жарок внутри. Станный такой жарок, с кислинкой.

Василий Федорович, вероятно, тоже ощущал нечто похожее, почему уже после второго приема внутрь накрывал ее рюмку ладонью, ведя строгий счет. Однако это не всегда ему удавалось, так как он сам не дурак был выпить, счет своим личным рюмкам не вел, и наш общепризнанный затейник Константин порой успевал подсунуть его певунье лишний бокальчик. Она начинала орать свои припевки, а супруга куаферного мастера (это он сам себя так называл, поскольку почему-то не любил слова «парикмахер») непременно уточняла специально для меня:

– Женщины делятся на дам и не дам.

Директор обладал редкой уверенностью, будто все вокруг в полном ажуре, что в конце концов и привело к полному развалу некогда вполне дееспособный совхоз. Но Игнатов не унывал, чокался и опрокидывал рюмки, рассказывал легенды о немислимых царских охотах и вообще дышал полной грудью.

– У него – рука в Москве, – сказал мне парикмахер. – Даром, что ли, всегда об охоте рассказывает. Он ведь егерем служил в охотничьем хозяйстве не для всех.

Чужие руки занимали куафера Константина целиком, будто он страдал неодолимой почесухой. Спорить с ним было абсолютно бессмысленно, я пробовал. В ответ на мои

предположения, что у человека могут быть способности, усидчивость, талант, наконец, он только покровительственно ухмылялся:

– Смех думать. Никто никого вперед себя не пропустит, если его московская рука мимо не обнесет.

«Упрямничает», – говаривали наши дамы, и это тоже меня донимало, надо прямо сказать. Может, оттого донимало, что я рюмками грохот в ушах заливал весьма усердно.

Особенно когда натыкался на все и навсегда понявший взгляд Василия Федоровича (это у которого, стало быть, «рука»). Взгляд был полон неколебимого превосходства, а рожа лоснилась, как у моей Тamarочки после горсти удушливого крема. Этот же самый липкий аромат помады витал в воздухе в началах всех наших посиделок, но потом исчезал то ли от моих рюмок, то ли от дамских кокетливых пригублений.

– Ах, что вы, что вы! Ах, я не употребляю совершенно. Только разве что за компанию.

Дамы участия в застольных разговорах не принимали. Они оживленно шушукались, передавая какие-то известия по цепочке за мужскими спинами, и непременно хихикали, когда что-то доносилось. Особенно – откровения директора совхоза:

– Люблю банек, пивок, парок да девок!

Домой Тамара приносила рецепты блюд, которые никогда не пробовала готовить, и охалки дамских пересудов. Кто, с кем, когда и где. Все их интересы концентрировались только

вокруг постельных подробностей. Особенно когда дозревал до кондиции хмурый, но очень даже горластый зубной техник Николай:

– За границей все зубы рвут. Рвут и вставляют вечную улыбку. Безжалостно.

– Зачем же, если свои хорошие?

– А затем, что их искусственные зубы так сделаны, что сразу говорят: «Хочу тебя».

Дамы опускали очи, робко хихикали и изо всех сил старались покраснеть.

Точно так же они поступали, когда подвыпивший завмаг начинал рассказывать какие-либо истории. Не от рассказа, а от часто употребляемого буквосочетания «ё-мое», которым он приправлял рассказы в самых неожиданных местах.

– А муж, ё-мое, аккурат в командировке, ё-мое...

Однако Тамаре очень нравились эти посиделки, платья, прически, сплетни, женское хихиканье и густой мужской гогот. И я – терпел, поскольку имел еще некоторый запас терпения, да и деваться в Глухомани было больше некуда.

Кроме того, давайте честно признаемся, мне нравилась супруга завмага Тарасова Ляля. Нравилась так, как нравится, скажем, хорошо поджаренный кусок доброго мяса, не более того. И она это чувствовала, и Тamarочка моя тоже чувствовала, и остальные дамы – тоже, хотя ровно ничего между нами – то бишь между мной и Лялей – даже сказано не было. И глаза я на нее особо не пялил, а поди ж ты, дамы хихикали

и многозначительно переглядывались. А порою и шептались за нашими спинами. И меня это все почему-то перенапрягало. Может быть, как раз потому, что меж нами даже перегадываний особых не случилось.

А тут разладился конвейер на винтовочной линии. Ни заводской, ни военпредовский контроль обнаружить какого-либо брака у целой партии не смогли, но при отстреле первая же винтовка выдала траекторию, которая не укладывалась ни в какие нормативы. Мне пришлось отстрелять пятьдесят две штуки подряд, прежде чем я смог точно установить, что из этого оружия удобно стрелять только из-за угла. Мушки оказались смещенными, я забраковал всю дневную выработку, конвейер встал, а я добрых сорок минут ругался с главным инженером. Пока он не возмутился:

– А почему ты орешь?

– Что?.. – гаркнул я.

– Орешь почему, спрашиваю?

– Потому что уши у меня заложило от вашей продукции!..

Орал я потому, что не терплю, когда орут на меня. Это – во-первых. А во-вторых, я плохо соображал после аврального отстрела, с трудом понимал, что мне толкуют, а барабанные мои перепонки чесались уже нестерпимо, и у меня было твердое убеждение, что они зарастут коростой, если я их не почешу.

Поорали и разошлись. Я пошел домой, а дома Тamarочки не оказалось, и тут я припомнил, что сегодня у кого-то ка-

кая-то встреча. И пошел неизвестно куда.

Словом, пока я, основательно поплутав, добрался до попойки, меня, похоже, уже никто и не ждал. Дверь почему-то оказалась открытой, из большой комнаты – «зала», как все здесь называли те квадратные метры, в которых спали сами родители, запихав детей в примыкающую к большой комнате маленькую, – доносилось знаменитое «ё-мое» завмага, и я, никого не тревожа, снял куртку и пошел в ванную вымыть руки. Путь в нее лежал почему-то через кухню, и, войдя в эту кухню...

Нет, тут перекурить надо, сами понимаете. Если бы я тогда вовремя перекурил где-нибудь на лестничной площадке...

Но я не перекурил. А потому, войдя в кухню, увидел свою Тamarочку, прильнувшую к зубоделу Николаю, и этот зубодел Николай откровенно ее оглаживал по довольно приятным возвышенностям, обтянутым крепдешиновым платцем.

Это оказалось последней каплей. Точнее – самой последней. Я схватил зубтехника за плечо, оторвал от возвышенностей лично мне принадлежавшей супруги и саданул ему между глаз от всей своей перестрелянной души.

Полный абзац продолжился дома.

Господи, ты же учил терпеть! И чего это меня после получения высокого глухومانского статуса вдруг понесло делиться своей профессиональной скукой и житейской тоской с вышестоящими инстанциями?..

Мой рапорт с доказательством абсолютной никчемности собственной должности попал на стол самому главному винтовочному генералу, который тут же пожелал познакомиться с автором. Я прибыл и предстал. Он долго и с удовольствием втолковывал мне, что наша армия давным-давно перешагнула винтовочный уровень, а потому мы поставляем винтовки и патроны к тем народам, которые еще не доросли до автоматов, но уже осознали необходимость построения социализма в одной отдельно взятой африканской стране. И что в одной из таких передовых стран случилась небольшая неувязочка с калибрами, в которой мне для утешения заскорбевшей души и предстоит разобраться.

– Вовремя ты подвернулся! – радостно сказал он мне на прощанье и даже пожал руку.

Это я потом понял, что означают напутственные слова и братское пожатие генеральской руки. Потом, когда валялся в госпитале. Все мы крепки задним умом, как легированная сталь.

Но – для, так сказать, запевки, что ли... Вы когда-нибудь

обращали внимание, что континенты сходят с ума по очереди? К примеру, в двадцатом веке сначала сбрендила Европа, провалившись во Вторую мировую, которая для нас обернулась Великой Отечественной. Затем наступил черед Азии с ее вечно мокрыми джунглями, почему брезгливым американцам и пришлось изобретать напалм. Затем всласть постреляли в Латинской Америке, начав с Острова свободы. Ну, а на мою долю досталась Африка. Романтики, уцепитесь за стул двумя руками или суньте голову под кран с ледяной водой!..

Абзац.

Оформили меня быстро, даже гражданский костюм выдали за казенный счет. И отправили почему-то через остров Мадагаскар вместе с капитаном Заусенцевым (тоже, естественно, не в мундире). Заусенцев уже бывал в странах Левинсона, Стенли и похитителей бриллиантов, что навеки замерло в его тоскливых глазах. Но я тогда взбрыкивал, как молодой жеребец, и в мужские глаза не заглядывал. Разум приходит не столько с возрастом, сколько с опытом. Разумеется, печальным, поскольку веселый опыт ничему ровнехонько не учит. Проверено.

А тогда я в самолете приставал к капитану с вопросами. Какова она, эта самая Африка, и что мне надлежит там делать ради достойного исполнения приказа Родины. Заусенцев вздыхал и отмалчивался, а потом достал бутылку «Столичной» и предложил перейти к делу. Я отказался, а он на-

чал припадать к горлышку.

– С кем мне там скорее всего предстоит общаться: с ка-
фрами или с банту?

– Со вшами, – мрачно изрек он и отхлебнул. – С москита-
ми, мухами, тараканами, клопами и другой зловредной па-
костью. Старайся не расчесывать, морду наверняка разнесет.

– Там очень жарко?

– Как в сауне, – он снова отхлебнул. – Ни в какую воду
не лезь...

– Крокодилы? – осведомился я как можно хладнокровнее.

– Чего?.. – презрительно переспросил он. – Кино насмот-
релся? Пиявок там навалом! И прочих червивых тварей. Не
чешись, как на родине. И старайся не пить никакой воды. Ни
глотка по возможности.

– Ни глотка?

– Ни глотка, – отрезал он и, естественно, отхлебнул. –
Виски с водой, и ничего больше.

– А где же я виски возьму?

– Ай вонт ту дринк виски вери-вери мач. Так и отвечай
на все вопросы, пока не дадут бутылку.

– Целую бутылку?

Он больше не сказал мне ни слова. Ни единого. А когда
мы наконец сели в Антананариву, у него заболел живот. В го-
стинице его освидетельствовали врачи, с которыми он объ-
яснялся на неизвестном мне языке, и мой капитан оконча-
тельно выпал в осадок. Вот такой абзац в моей жизни.

На второй день я куда-то вылетел на ржавом, тарахтящем, трясущемся и грохочущем самолете один. Если не учитывать черного экипажа и некоторого набора английских слов в моем русском произношении.

Я трясся на холодном железном полу, стуча зубами, поскольку от большого ума вылетел в одной рубашке. Все мои знания об Африке ограничивались доктором Айболитом с небольшой долей Луи Буссенара. Вокруг меня радостно скалили зубы сплошные натуральные негры, говорящие на каком-то бесспорно человеческом, но отнюдь не английском языке. Я тоже сначала скалил все свои резцы, но потом окончательно продрог и заговорил по-английски:

– Гив ми плис ту дринк. Ту дринк плис.

Про виски я забыл, но, полагаю, к счастью, иначе бы они меня неправильно поняли. А так – правильно, сунув мне в руку стакан с какой-то жидкостью. Я сказал «сенк ю» и хлебнул от души. Отдавало чем-то хмельным, но, сдается мне, лишь налитым в стакан из-под виски. Тем не менее я малость согрелся, и тут мне жестами объяснили, что мы собираемся садиться. И – сели, подпрыгивая на буераках. Не успел я выбраться из этого летающего устройства, как меня...

Абзац. Дух надо перевести.

Ну, считайте, что перевел. Схватили меня в полном смыс-

ле слова в охапку, кинули на дно железного кузова какой-то автоколымаги и начали срочно заваливать мягкими и жесткими предметами вперемежку. Багажом, словом. Это было не тяжело, но несколько неудобно, особенно когда мы с ревом и грохотом тронулись куда-то по тем же буеракам и весь этот багаж стал исполнять чечетку на моем теле. Каждый загруженный предмет сначала одиноко подпрыгивал и столь же одиноко падал на меня, а поскольку с багажом они постарались, то в сумме я оказался избитым до синяков. А ойкать не решался, что в определенной мере создавало как бы синяки внутренние.

Спасло то, что ехать было недалеко. Доехали. Куда – не спрашивайте, я ничего разглядеть не успевал. Разгрузили от багажа машину, а меня сунули в какую-то хижину без окон, но – со щелью, изображающей дверь. Накормили. Чем – тоже не спрашивайте, все равно не знаю. Одно могу сказать точно – не мясо, но и не рыба. Может быть, тушеные в горьком масле бананы, может, что-то еще. Выжил, но даже перекурить не дали. Снова – на божий свет, снова – на пол машины, снова – загрузка. На сей раз какими-то циновками, зато – с головой и почти без воздуха.

Тронуться не успели, как я весь зоопарк так вовремя заболевшего капитана Заусенцева припомнил. Может быть, кроме вшей. Но мух, клопов, тараканов и еще чего-то ползающего, скачущего и кусающегося было навалом. Мало того, от тряски из циновок стала вылетать мелкая и злобная

пыль. Я чихал от ухаба до ухаба, и под мое чихание автоколымага наконец-то остановилась. И тут просто необходимо объявить очередной абзац.

Колымага остановилась, и я ясно расслышал веселый женский смех. Он прорывался сквозь все циновки, пыль и мою благоприобретенную дорожную почесуху.

Я надеялся, что меня наконец-то извлекут из-под, но это «из-под» лишь раздвинулось. В амбразуре показалось сияющее невероятным счастьем черное, как надраенное голенище, лицо, и сквозь ослепительную улыбку прозвучало что-то совершенно непонятное. И тут же циновки вновь наглухо задвинулись, а я почувствовал, как на меня начали грациозно опускаться отнюдь не грациозные тела. При этом раздался бешеный хохот, решительно заглушая все иные звуки. По моему, я даже не расслышал, как заработал двигатель.

Мы – катили, невидимые дамы поверх меня хохотали, как безумные, а меня жрали неизвестные твари. Я уже забыл обо всех предостережениях капитана Заусенцева, я уже мечтал о том, чтобы почесаться, как мечтают о глотке воды утром с серьезного перепоя, но ничего не мог поделать. Я был зажат циновками со всех сторон и припечатан к днищу увесистыми дамами сверху. Спору нет, женский смех чарует, но не в таком же положении! Однако я – терпел. Терпел, потел, страдал и всем телом считал ухабы, смутно надеясь, что после какого-то очередного подброса этот африканский самокат наконец-то остановится, а я – почешусь всласть. Но он,

проклятый, что-то никак не останавливался.

А когда неожиданно остановился, я понял, что происходит нечто не совсем то. Мои тяжеленькие негритянские веселушки больше не смеялись. Не смеялись, и только поэтому я ясно расслышал грубые солдатские голоса. И внутренне весь съежился, потому что внешне съезживаться мне было уже некуда.

Неизвестный разговор на неизвестном языке продолжался и креп. Я понимал, что дело обернулось скверно чисто физиологически, поскольку, прямо скажем, сдрейфил. И pokrылся противным потом, идущим, так сказать, изнутри. От дрейфа не в ту сторону.

Что, абзац? Дудки вам, а не абзац: засмеялись мои милые! Засмеялись, и мне как-то сразу полегчало. Но опять же – внутренне, потому что внешняя тяжесть вдруг стала ощутимо увеличиваться. На три пункта, если пунктами считать троекратный весомый, но как бы поочередный вклад в мою внешнюю поклажу. Трижды – и будь я проклят, если не с разбега! – грохнулся дополнительный багаж поверх всего остального. И что-то там, наверху, где свет, воздух и воистину легкая жизнь, изменилось качественно. Мои увесистые незнакомки стали еще смешливее, озорнее и – подвижнее, что ли. И мы – поехали, но тут, уж извините, абзац. Полный абзац, потому что подобного я не испытывал за всю свою двадцатисемилетнюю жизнь.

Хохот и грохот, пыль и пот продолжались, как и до, но

прибавились солдатские голоса. Нет, не голоса – солдатское ржание, весьма сходное с жеребячьим. И я очень скоро начал испытывать ритмические нагрузки, сопровождаемые женскими взвизгиваниями и мужским сопеньем. Это было похоже на работу некоего мягкого, но непрерывного пресса, запущенного наверху для неясной пока цели. Однако звуки, которые издавали как дамы, так и кавалеры, недолго держали меня в неведении: наверху, в кузове трясущейся машины, шла самая что ни на есть вульгарная солдатская случка. Со звериным рычанием мужчин и радостной визготней женщин.

Наверху кипели страсти, это стало очевидным. Очевидным стало и то, что на мои чувства они не действовали просто потому, что мне было не до эмоций. Меня тайно везли через чужие границы чужих государств, чужих племен и даже чужого континента, и любая погранзастава, любой патруль или просто недоверчивый боевик с каким-нибудь там ассегаем могли закончить мою жизнь, так и не спросив, как меня зовут и откуда я родом. Тут уж, простите, не до страстей и страстишек, тут действует закон сохранения твоей личной энергии, а не похотливое желание избавиться от нее. А это, поверьте, могучий тормоз всех иных ощущений. Тут, как говорится, абы выжить, иначе – полный абзац.

Сколько прошло времени – не помню, не до того мне было. Но оно прошло, потому что машина вдруг остановилась, еще переполненная звуками негритянских страстей. Дополнительное давление сверху прекратилось, опять я услышал мужские голоса и смех веселых негритянок, кто-то спрыгнул, кто-то впрыгнул, и машина наконец-то тронулась дальше. И сразу же замер женский смех, вместо него до меня доносились вполне нормальные, даже слегка озабоченные женские голоса, и я сообразил, что мужчин в кузове больше нет.

Соображал я, правда, уже с трудом, кусками и урывками, потому что все во мне онемело до такой степени, что я не чувствовал ни укусов, ни почесухи, ни зуда, ни даже жажды. Ничего я не чувствовал, кроме разве что ощущения близкой кончины. Прямо под циновками и негритянками неизвестного мне племени и политической ориентации. Так мы тряслись в рычащем и дымящем грузовике еще около часа, показавшегося мне декадой великих трудовых подвигов.

Наконец остановились, дамы спрыгнули и начали быстро сбрасывать с меня циновки, одеяла и прочий багаж. Я впервые глубоко вздохнул, закашлялся и в образовавшемся просвете увидел милые, озабоченные женские мордашки. Они о чем-то спрашивали хором и в розницу, но я не понимал ни слова, а на ответную улыбку уже не было сил. Впрочем,

эта односторонне немая сцена длилась недолго. Кто-то извне раздвинул кучерявые головки, и я увидел загорелую дочер-на, но вполне индоевропейскую физиономию. И эта физио-номия спросила на чистейшем русском языке:

– Живы?

– Воды... – прохрипел я. – Ай бин виски энд муттер...

Почему я попросил виски с матушкой да еще на полуне-мецком-полуанглийском – и не спрашивайте. Вам бы хоть сотую долю такого путешествия через добрую половину Чер-ного континента...

Но неизвестный земляк все понял, что-то кому-то сказал, и мне подали холодный – холодный!.. – стакан, в котором плавал настоящий лед. Я выпил неизвестную жидкость на одном дыхании, съел лед и спросил:

– Ты наш?

– Наш, наш, – ворчливо ответил он. – Зови просто Колей. А девочек наших поблагодари особо и непременно каждую – в отдельности. Они тебя не только через две границы и три фронта перевезли – они тебе жизнь заново подарили.

Я расцеловал каждую в отдельности черную мордашку и поплелся вслед за Колей, ощущая каждое сочленение соб-ственного тела тоже как бы в отдельности. Мы брели через какое-то бесконечное кочковатое поле к какому-то деревян-ному бараку, и я заплетающимся от виски языком все же пы-тался расспрашивать моего проводника и, как я надеялся, переводчика, хотя расспрашивал и не очень толково.

– Мы где?

– В Африке.

– В самой-самой?

– Вас надо было через Анголу везти. Дальше, зато безопаснее. Всегда деньги экономят. Где капитан Заусенцев? Опять заболел?

– Что значит «опять» в данном случае?

– Значит, долго проживет.

– А ты – переводчик?

– И как ты догадался?

– Затрясло меня и зажрало, извини. Я вообще-то насчет винтовок и патронов калибра 7,62. Какие проблемы?

Насчет проблем он ответить не успел. Раздался какой-то рев, Коля толкнул меня на землю, упал рядом, а неподалеку раздался самый натуральный взрыв. Как в кино, только комья земли летели в мою спину. Весьма чувствительно. И не успели все комья оставить на мне свои отпечатки, как загремела еще парочка взрывов.

– Засекли!.. – прокричал Коля. – Беги за мной!..

Я послушно побежал за ним, хотя мы бежали не к бараку, а совсем даже в другую сторону. По нашему полю били беспрерывно, мы падали, получали в спины очередные комья, вскакивали, снова бежали, снова падали и снова получали. Наткнулись на какую-то изгородь, Коля полез через нее, я тоже полез, расцарапал руки, грудь и живот, окончательно дорвал рубашку до лохмотьев, но каким-то чудом перебрал-

ся.

– Это чужая собственность, – зачем-то пояснил Коля. За чем – мне ясно стало позднее. Но тогда я ничего не уточнил, потому что увидел впереди какой-то вполне цивилизованный дом и, вскочив, бросился к нему, как к бомбоубежищу.

– Стой!.. – заорал Коля. – Назад!.. Тут бур живет! Нейтралитет! Нельзя нарушать!..

Кажется, я остановился и зачем-то повернулся к нему лицом, но вообще-то не помню. Грохнул выстрел, и я ощутил удар в зад. Так сказать, в филейную часть. И – полный абзац. Вырубился. Не ходите, дети, в Африку гулять.

5

К чему рассказал все это? А бог его ведает, надо же с чего-то начинать. Тем более что все последующее оказалось связано с предыдущим. Как ни странно это может показаться стороннему человеку.

С этой простреленной нейтралом-буром ягодицей я оказался на Кубе, где меня и чинили. Почему на Кубе, спросите? Не знаю, я не спрашивал, почему на Кубе, а не в Африке. На Кубе, представьте себе, как-то спокойнее. А еще спокойнее, когда ты никому не задаешь никаких вопросов. Вопросы очень раздражают, замечали? На них что-то отвечать приходится, а в тех конкретных условиях – попросту врать. И тебе противно, и отвечающему – тоже противно.

Теперь-то, в эпоху, как говорится, всеобщей обязательной гласности, могу предположить, что кое-как заметали следы. Одно дело – кусок бурского свинца из твоего седалища извлечь, другое дело – объяснить, как ты в Африке-то оказался, рязанец чертов! Без визы, денег, кредитных карточек и знания какого бы то ни было языка, кроме рязанского! Уж лучше тебя через другую половину Африки еще раз перетащить и на кубинский корабль сунуть. Там ребята сообразительные, вопросов задавать не станут. А с Острова свободы – пожалуйста, к родным пенатам. С какими угодно документами. Хоть туристическими, хоть дипломатическими.

В госпитале первым меня навестил представитель нашего посольства. В штатском. Принес корзинку фруктов, бутылку рома и настоятельную просьбу не писать домой ни строчки.

– Мы сами все объясним вашим родным и близким. По собственным каналам. А вы пока отдыхайте, будем вас навещать.

Кубинские врачи залечивали дырку, я отдыхал между лечениями, и меня навещали. Правда, не из посольства, а из общества дружбы с нами. Веселые девчонки с цветами и фруктами и смешливые ребята с бутылками рома. И так продолжалось довольно долго, потому что бурское гостеприимство заживало весьма неохотно.

Эти ребята и подвигли меня взяться за перо. Подарили толстую тетрадь и попросили описать свой героический подвиг во имя торжества всеобщей справедливости и гармо-

нии. В конце концов я начал писать, потому что делать было абсолютно нечего.

Если парни подарили мне хоть и весьма интересную, но все же обязанность, то кубинские девушки сделали прямо-таки королевский подарок. Они преподнесли мне женский паричок ручной работы с необыкновенно красивой укладкой натуральных волос густого золотого цвета. Чья-то негритянско-кубинская бабушка сотворила этот куаферский шедевр для своей внучки, а внучка преподнесла его мне от всей своей негритянской души. И сказала:

– Это вашей жене.

Вот это-то меня больше всего и обрадовало. Когда начинаешь поправляться на больничной койке, под утро приходят совсем другие сны. С другими градусами содержания, и это – признак номер один. И я этого не избежал. Исчезли боль и всяческие неудобства, а вместе с ними отошли в небытие и африканские страсти-мордасти, и мне все чаще и чаще стала сниться вполне мирная и, главное, желанная картинка. Наша квартирка, ужин вдвоем и – конечно же – она. Моя Тamarочка, которую я по-прежнему любил, а следовательно, и давно простил. И сны были теплыми и уютными, и паричок при возвращении мог очень даже пригодиться.

В общей сложности месяца полтора я провалился, потом стал кое-как ходить, а потом меня выписали, и за мной приехал тот же представитель посольства. Думаю, не вследствие беспокойства о моем здоровье, а по той причине, что я остал-

ся без штанов, поскольку штаны остались в Африке.

– Поздравляю с выздоровлением, – сказал представитель, явившийся со штанами, но без фруктов и рома, – ваши родные и близкие в курсе. Одевайтесь: поедем в посольство, с вами компетентные товарищи хотят познакомиться. Будете жить на территории посольства, пока не придет пароход. За пределы территории выходить не рекомендуется ни под каким видом.

Так что Кубу я видел сквозь посольские окна, но все-таки видел. В отличие от Африки, которую не видел, но зато прочувствовал.

Еще через месяц пришел пароход. Он отваливал в крошечной тьме, которой я и сделал ручкой с его борта. Абзац, поскольку командировка относительно путаницы с калибрами закончилась, и где-то вдали замаячили родные берега.

Но родные берега – еще не родная Глухомань. До нее я добирался через Москву, где потратил три дня на объяснение, как, где, почему, зачем и кто именно меня ранил. Устно и письменно, в трех экземплярах. Потом всучили новенькую форму и сразу два приказа. Первый – о присвоении мне внеочередного воинского звания капитана, второй – об увольнении меня из рядов Советской армии вследствие бытовой травмы. Так и было написано: «бытовой». Я, естественно, ринулся опровергать, требуя записи «боевой», а меня резонно спросили, с кем мы сейчас воюем.

– С Афганистаном!

– С Афганистаном мы не воюем. Там – ограниченный контингент по просьбе трудящихся.

И я заткнулся.

– То-то же, – сказали мне. – Помалкивай, пока мы выводов не сделали.

И поехал я помалкивать в родную Глухомань. Навстречу абсолютно неожиданному абзацу в своей жизни.

Глава вторая

1

Пока я выполнял важное и сугубо секретное государственное задание, моя миленькая супруга-макаронщица Тамарочка ежедень писала во все мыслимые инстанции. И то ли перебрала с требованиями ответить, куда отправили ее мужа, то ли просто количество переросло в качество согласно законам диалектики, а только откуда-то (из центра!) пришло письмо с гербовой печатью, скорбно сообщавшее, что я пропал без вести. Пропал, и все тут. Как трешка из кошелька.

Такой вот абзац. Жenuшка порыдала и пошла в загс, где ее и развели с без вести пропавшим на основании казенной бумаги с гербовой печатью. И она тут же вполне законно вышла замуж, пока ее профессия не сказалась на ее фигурке. Такие вот дела. Слава богу, детей у нас не было, а стало быть, и новых сирот не появилось.

И с точки зрения центра никто и не пострадал, поскольку разведенный мужчина это не то же самое, что разведенная женщина.

Хорошо еще, что новый муж моей прежней жены имел аж трехкомнатную квартиру в центре города, так как ока-

зался каким-то комсомольским вожаком с весомым окладом и казенной жилплощадью, за что-то там сосланным в нашу Глухомань. Супруга моя от повышенной комсомольской со-вестливости вздумала было вернуть мою квартиру домо-управлению, но, по счастью, процесс не пошел вглубь. И она честно призналась, почему не пошел:

– Мой... То есть муж... не посоветовал, когда узнал о мо-ем заявлении. Он о тебе очень беспокоился.

Вот так благодаря заботе комсомольского вожака я и оказался весьма завидным женихом в городе Глухомани. И спасибо ему, потому что остальные друзья-приятели куда-то успели слинять, и я остался практически в одиночестве. Без друзей, без работы, но зато – с отдельной однокомнатной квартирой и бытовой дыркой на том месте, о котором не сле-дует знать даже самым близким людям. Правда, мне пред-стояло таковыми еще обзавестись, поскольку, как я уже го-ворил, прежние друзья стали как-то странно помалкивать в мою сторону.

С бурской бытовой травмой никакой пенсии мне не полагалось («Пить надо меньше, Вася!..»), но диплом у меня все же был. Честно говоря, мне не хотелось идти на макаронную фабрику имени товарища Микояна, но на иных производ-ствах нашей Глухомани специалисты по отстрелу не требо-вались, и я вынужден был топать именно туда, куда не хотел.

– В спеццех начальником ОТК, – сказали мне в отделе кадров. – У вас имеются как опыт работы с нашей продук-

цией, так и допуск к нашему секретному производству.

– А...

– Не рекомендуется.

– Но...

– Не рекомендуется.

– Ага.

И – пошел.

2

Не хочу прикидывать, как сложилась бы моя судьба, если бы... Вообще мне кажется, что наше «если бы да кабы» – явление сугубо национального характера: лютей частник-бур, к примеру, ни секунды не размышлял о подобном. «Мой дом – моя крепость» – вот исходная точка всех его душевных терзаний. Но у нас нет никаких «моих» домов, а есть крепость. Одна на всех. Та самая, которую вроде бы должны, но все никак не соберутся взять большевики. А что касается ответственности, то мы куда чаще теряем ее в Африке или на ином каком континенте, как, вспомним, потерял я. Конечно, можно вальяжно порассуждать на банной полке, что было бы, если бы у бура, допустим, заела прадедовская пищаль... Но – бесперспективно.

Кстати, мечтаем мы тоже вполне бесперспективно, замечали? Хорошо бы, дескать, изобрести такой самогонный аппарат, чтобы он сам собой перестраивался на выдачу кефи-

ра, как только в двери постучит участковый. Или, скажем, неплохо было бы найти у проходной червонец ровнехонько в понедельник, поскольку именно в этот день недели мы особенно тягостно воспринимаем среду обитания. Ну и так далее. Читай сказку о Емеле, который поймал в проруби говорящую щуку.

Вот так в общих чертах и я размышлял, пока не познакомился с Кимом, новым директором совхоза «Полуденный». Натуральным корейцем с натурально нашенским именем Альберт. Должность эта оказалась вакантной аккурат в то время, когда я пересекал Черный континент то под матрасами, то под циновками. Однако место директора пустовало довольно долго, поскольку Василий Федорович с певуньей-женой умудрился довести хозяйство до ручки в считанные месяцы. Вот почему все и отказывались, пока не нашли инородца.

Альберт Ким прибыл в Глухомань после окончания сельхозакадемии сразу на должность директора совхоза «Полуденный», припадающего на обе ноги со дня назначения предшественника. Выпускника Кима сунули на этот пост с категорической установкой «Поднять!» совсем не потому, что он закончил сельхозакадемию с золотой медалью, а исключительно потому, что – кореец: своего бы пощадили. Но он не унывал – он никогда не унывал! – не мечтал о говорящей щуке в проруби, а...

Нет, надо сделать абзац, перекурить с толком и нетороп-

ливостью, а уж потом – продолжить рассказ, где и как я познакомился с Кимом.

Грешен: люблю попариться в нормальной русской баньке. С веничком, с парком по желанию, с ледяной водичкой из полной шайки на распаренное тело. В моем жилье есть ванна, но ванна – индивидуальное омовение, а русская банька – мужской клуб. Единственный, который почему-то до сей поры так и не прикрыли. Там – откровение под стаканчик с пивком, там – выяснение проблем, там – полигон мужских мечтаний, когда душа твоя – нараспашку и вроде как ты уже ничего почти что не боишься. Что-то взамен личной свободы, заботливо выданная нам предками отдушина, чтобы окончательно не испарилась наша душа и вместе с ней хоть какая ни есть, а – перспектива личной свободы. Скажем, половить завтра рыбку или сходить за грибками, даже если их нет и не может быть в принципе. Недаром просвещенные жены называют эти наши мужские развлечения пьянкой в резиновых сапогах. Поэтому мы в своей Глухомани и собираемся в парной клуб по пятницам, поскольку всегда имеется шанс договориться о субботе. А прежние мои приятели, с которыми меня познакомила Тамарочка то ли через зубного техника, то ли через своего куафера, в пятницу и не сошались, поскольку здесь собирались люди серьезные и даже ответственные не только перед женами.

Стоп, абзац. Что-то я здесь напутал.

Короче, еще до появления Кима в нашей глухоманской

около меня по возвращении из внезапно посетила супруга глухоманских «Канцтоваров» Лялечка. Всегда аппетитно розовенькая, как ветчина со слезинкой, почему я и испытывал чисто физиологическую тоску. Съесть мне ее хотелось, иначе моих чувств просто не объяснишь. Да и не было их у меня, этих самых чувств, о которых так любили курлыкать наши дамы в первой глухоманской компании.

– Как ты себя чувствуешь? Я слышала, что ты участвовал в боях, что опасно ранен. Ты скрылся от всех нас из-за секретов, да?

– Точно, – буркнул я, ощущая внутри нечто вроде голодного спазма. – Кстати, ранение у меня – тоже секретное. Учти.

– Я понимаю, понимаю, – заколготилась она, разбирая принесенную с собою сумку. – Вот. Это – для поправки.

Я ожидал увидеть связку скрепок или, скажем, пачку папок – что еще может прихватить супруга хозяина глухоманских «Канцтоваров». А она поставила на стол натуральный армянский коньяк. Пять звезд снаружи и ноль-семь внутри.

Ну, выпили за мое здоровье, за ее здоровье, за интернациональные долги наши тяжкие. Лялечка пила не так, как в компаниях: заглатывала, как отощавшая щука. И тараторила без умолку:

– Знаешь, меня возмутило поведение Тамары. Конечно, официальная бумага и все такое... Но надо же ждать и верить. Женщина всегда должна верить и ждать!

Женщина – возможно, но я ждать уже не мог. И сграбастал ее прямо за столом. И поволок на ближайшее ложе, как паук Муху-цокотуху.

– Что ты!.. Что ты... Милый...

Н-да. Неприятный абзац, но абзацев из рукописи, именуемой жизнью, уже не исключишь. Как бы ни тужился.

Но все это – как бы между прочим, хотя потом отозвалось. Всякое взрывное действие порождает отдачу. Это я утверждаю как знаток стреляющей продукции.

Дело в том, что Лялечка при всей своей ветчинности со слезой была наивна до опасной грани идиотизма, доверчива и чудовищно общительна. И этот довольно хмельной для мужиков коктейль сыграл со мной в подкидного, оставив, естественно, в дураках.

Впрочем, будем честными, не перегружая Лялечкин интеллект заранее разработанными интригами. Во всем была виновата ее почти гениальная простота.

Впервые она, эта самая простота, обернулась для меня весомой, но не губительной историей одного Лялиного знакомства.

Знакомство завязалось в Москве, куда на экскурсию Лялечку отправил супруг, кажется, уже что-то почувствовавший. Ляля вернулась из столицы в радостном перевозбуждении и при первой же нашей обеденной встрече вывалила на меня... Нет, не репертуар театров, не красоты Москвы и даже не богатство ее магазинов. А – восторг по поводу вне-

запного московского знакомства.

– Она – чудо, чудо! А матери-одиночки – ужас, ужас! Она показывала их письма с мольбой о помощи и фотографии. Впрочем, ты сам с нею вскоре познакомишься, я пригласила ее в нашу Глухомань. У нас ведь нисколько не меньше матерей-одиночек, чем в столице, ведь правда?

Таинственная «ОНА» и вправду вскоре пожаловала.

– Ольга. Очень приятно.

Крепкое рукопожатие, умный взгляд с чуть заметной искринкой иронии, хороша собой настолько... насколько все это, вместе взятое, не соответствовало ее дружбе с глупышкой Лялей. Здравая мысль об этом вспыхнула у меня вдруг, при первом знакомстве. Но, вспыхнув, столь же внезапно и погасла, и я не успел обратить внимания на красный сигнал «Стоп».

Выяснилось, что она, то бишь Ольга, и впрямь невероятно озабочена судьбой всеми позабытых матерей-одиночек и их полунадзорных – в лучшем случае – скороспелых детей. Она писала статьи в газеты, привлекая общественное внимание, трижды обращалась с письмами в правительство и в конце концов получила согласие на создание некоего общественного фонда в помощь этим самым легкомысленным матерям. Ей даже предоставили помещение – знаю о статьях, письмах, разрешении власть предержащих из копий всех этих письменных следов борьбы за справедливость. Она притащила толстую папку и показывала ее всем, кому надо

показывать в нашей Глухомани. А показывать надо было тем, кто имеет доступ к внутренним социальным фондам предприятий, каковых в нашей Глухомани оказалось достаточно. Вызвав острое желание помочь несчастным – а это она умела делать, уж поверьте! – Ольга просила наличными, ссылаясь на долги, которые успела наделать, затеяв ремонт в полученном помещении.

– Представляете, мне дали полную развалюху. А где и как принимать людей с просьбами и жалобами? А юридическая служба? А зарплата аппарату, который уже четыре месяца работает в долг?

Не знаю, сколько выделяли директора глухоманских предприятий, а я отвалил пять тысяч. В то время это были серьезные деньги, поверьте. Весь мой годовой фонд социальной помощи. Отдал, естественно, под расписку, Ольга трогательно благодарила, обещала через недельку-другую приехать и отчитаться и – исчезла. И запросы, которые затеял мой главный бухгалтер, ни к чему не привели. Москва из всех инстанций отвечала под копирку, что такого фонда нет, разрешения на его создание никто не давал и никаких строений за ним не числится.

– Дураки вы все, – сказал Ким.

Я еще не был с ним в приятелях, до первого дружеского рукопожатия и тумака в спину было далеко, но он привлек мое внимание еще на этой стадии. Привлек потому, что оказался единственным, кто не дал на святое дело помощи ма-

терям-одиночкам ни копейки, и на него уже начали косо поглядывать в нашей Глухомани.

Ну, о второй истории, в которую я попал благодаря все той же аппетитной наивнице, я поведаю в своем месте. А теперь самое время вернуться к Альберту Киму, внезапно возникшему на моем к тому времени уже порядком суженном горизонте.

3

Я впервые увидел Альберта Кима на районном партийно-хозяйственном активе, так как к тому времени дозрел до высокой должности. Не по макаронам, разумеется, а по приложению к ним в цинковых и деревянных ящиках. Это уже было зимой, и в пятницу сразу после партхозактива и случилась эта свиданная банька.

Альберт Ким был уже немолод: старший сын служил в армии, дочь училась в школе, младший по утрам самостоятельно топал в детский сад. Супруга его Лидия Филипповна трудилась на школьном поприще, преподавая литературу и английский язык подрастающим глухоманцам, и я был с нею знаком по встречам на каких-то там общественных начинаниях. А сам Альберт отличался тем, что говорил всем «ты» при первом же свидании, невзирая на должности и звания.

– Грубишь? – помнится, спросил я его, когда мы друг к другу уже достаточно притерлись.

– Позицию определяю, – сказал он. – После того как начальник в ответ на мою вежливость меня же преспокойно тыкнет, позиция моя заведомо окажется проигрышной. А при таком варианте – извините, мы как бы на равных.

– Брови не хмурят?

– Хмурят. Но я им нежно объясняю, что в корейском языке нет обращения на «вы».

– Как в английском?

– А кто их знает, – улыбнулся он. – Я только двумя языками владею: русским и мужским.

– А почему ты так поздно пошел в академию?

– Я не пошел. Я прорвался.

– Что значит прорвался?

– Да кто же корейца в сельхозакадемию пустит? Корейцам положен сельхозтехникум по месту жительства, и это – максимум. Пришлось прорываться самостоятельно.

– Каким же образом?

– С помощью тарана. А тараном у нас служит трудовой орден. Я сначала его на целине выпахал, а уж с ним – право на академию.

Ким постоянно носил на своей корейской физиономии хитровато-русский взгляд, подсвеченный ироническим прищуром. Прищур он порой прятал, широко распахивая узкие глаза, но хитроватость при этом оставалась, что всегда нравилось начальству. Вы, наверно, и сами знаете, что начальники наши терпеть не могут иронии, нутром чуя ее интел-

лигентские корни, и прямо-таки обожают хитрованство, полагая его зеркалом русской простоты, которая, как известно, хуже воровства. «С лукавинкой мужик, не гляди, что кореец. Такой все, что обещал, сделает!» Так это начальство рассуждало, и Ким – делал. Но всегда по-своему. За это его дружелюбно корили, однако главным все же оказывалось то, что он – делал. Для нас результат всегда важнее способов его достижения, что в конце концов частенько срабатывает назад, как затворная пружина. Но начальство искренне рассчитывает, что подобный сбой произойдет в то расчетное время, когда это начальство уже успеет перебраться в иное руководящее кресло. Помягче и повыше. И, представьте себе, очень редко при этом ошибается в своих расчетах.

А в тот банный вечер, который случился существенно позже описываемых выше событий, Ким явился с иным выражением глаз. Вздыхал, пыхтел, вяло шутил и вяло отвечал – даже парился, кажется, без всякого удовольствия. Это было совсем уж на него не похоже, почему я и спросил за кружкой пива, не стряслось ли чего.

– Письмо от сына получил, – нехотя сказал он. – По всему судить, так бьют в армии смертным боем.

– Его бьют? – туповато переспросил я.

– Ну, вряд ли. Во-первых, он сдачи даст, а во-вторых, про себя он из гордости писать бы не стал.

Отхлебнул пивка и добавил неожиданно:

– Лучше бы его.

– Это почему же?

– Потому что тогда я бы право получил поинтересоваться. А так – непонятно, что делать. С ним еще один парнишка из нашего совхоза служит. Один сын у матери.

– Его бьют?

– Похоже, – Альберт вздохнул. – Тихий он, в очках. Безотцовщина. Мать его в совхозной поликлинике медсестрой работает.

4

На том тогда этот разговор и увял, потому что из парной вывалились распаренные и горластые. Появилась пара бутылок иного градусного содержания, речи начали спотыкаться, но крепчать, ну, и все дельное свернулось, как улитка.

А возникло вдруг уже поздней весной, в мае, что ли. Я с работы пришел, только поставил воду для пельменей, как появился Ким. Еще серьезнее, чем в зимней бане.

– К пельменям угадал!

– Значит, под пельмешки и выпьем, – он поставил бутылку на стол. – Выпьем, и ты со мной пойдешь.

– Куда?

– Мне специалист по цинку нужен.

Нужен так нужен: я лишних вопросов в мужском разговоре не задаю. Выпили, закусили.

– Куда прикажешь?

– Довезу.

Привез в старый заброшенный гараж на окраине совхоза. Ворота в него были закрыты, Ким погудел – открыли. Солдат открыл. Ким въехал, и солдат старательно закрыл ворота на засов.

– Сын, – представил Ким. – Андрей. А это – тот парнишка, о котором я тебе говорил. Безотцовщина в очках.

Посреди пустого гаража стоял гроб. Грубо сваренный из цинковых патронных ящиков.

– Умер?

– Официально объявлено, что он случайно выстрелил в себя при перезарядке автомата. Так и в сопроводительном объяснении указано за подписью командира части и полкового врача.

– И свидетелей, – негромко подсказал сын.

– Да, и двух свидетелей. Начальника караула и разводящего. Андрея сопровождать откомандировали как земляка.

– А почему гроб – тут, а не у матери? Или – в клубе?

– А потому, что гроб – с музыкой, и сплошные странности. Почему гроб – самодельный? Почему специалистам не заказали, если парнишка погиб из-за собственной неосторожности?

Я присел перед гробом, взгляделся. Он был аляповато слеплен из кусков цинка явно малоопытной рукой. Варили без флюса, металл кое-где был прожжен и прикрыт заплатками.

– Да, самодел.

– Пункт первый, – вздохнул Ким. – Андрей, покажи нашему другу пункт второй.

Андрей достал из кармана солдатского мундира сложенный вчетверо тетрадный лист в клеточку.

– Слава просил приятеля своего мне передать из рук в руки, чтобы никто не заметил.

Я развернул. Там были стихи:

В армии только бьют,
В армии только пьют,
В армии только врут,
В армии – труд не в труд.
И в какую сторону ни глянь,
В армии дрянь и пьянь.
Год прошел – та же осень,
В армии – год за восемь...

Это был крик. После таких криков вешаются, стреляются или бегут куда глаза глядят. Парнишка вполне мог сломаться и пустить себе пулю в голову, но зачем тогда – самодельный гроб? Почему не заказали, если сами не имеют ни материала, ни хороших сварщиков?

Я вернул Андрею стихи и признался:

– Ничего толком не понимаю, хотя самоубийство вроде бы подтверждается.

– Для тебя, – подчеркнул Альберт. – Если бы он оста-

вил эти стихи командиру роты как посмертную записку, они, возможно, и гроб не испугались бы заказать. Хотя... – Ким вздохнул. – Перескажи, Андрей, что тебе на словах приказано.

– Мне приказано убедить Славкину мать Веру Иосифовну не разрешать вскрывать гроб. Ни под каким видом.

– Почему? – я искренне удивился.

– Пункт третий, – сказал Ким, показав три пальца. – Может, его насмерть забили. Может такое быть? Не исключаю, потому что уж очень они темнят. Машину до Глухомани дали собственную, отрядили офицера и солдата в сопровождающие – целая самодеятельность. Зачем вся эта суета, если все было так, как они говорят? Если бы так, то хоронили бы этого несчастного Славика за казенный счет вполне официально, а не за деньги собственного полка. Это тебе – пункт четвертый.

– Значит, офицер сопровождал гроб?

– Положено так, – пояснил Андрей. – Машина с особым грузом.

– А куда он подевался, этот офицер?

– Это уж – пункт пятый, – сказал Ким. – Разувайся, друг, на руке пальцев не хватает.

– Командир нашей роты старший лейтенант Потемушкин доставил меня до совхоза, сгрузил гроб и на машине уехал в Нижний Новгород, мать с отцом навестить. А мне приказал после похорон самому до части добираться и оставил деньги

на проезд.

– Командир роты сбежал от объяснений, это и черепахе ясно, – вздохнул Альберт. – Как по-твоему, самовольно он это сделал?

– Вряд ли, – сказал я. – Андрей в часть вернется, а где же сопровождающий офицер? Да и шофер проболтаться может, и тогда этому старшему лейтенанту не вывернуться. Думаю, он эту поездку к родителям заранее с командиром полка оговорил. В порядке поощрения за неприятную командировочку.

– Похоже, что так, – вздохнул Ким. – А это наше открытие на сколько пунктов тянет?

Помолчали мы довольно согласованно. Помолчали, покурили, повздыхали. Потом Ким сказал:

– Иди домой, Андрей. Но постарайся, чтобы тебя никто не заметил. Огородами, как говорится.

– Понял, отец. А маме что сказать?

– Сказать, чтоб молчала, как налим. Я приду и все ей объясню.

– Понял. До свидания.

Парень ушел, и мы остались втроем – Ким, я и неизвестный Славик в цинковом самодельном гробу.

– Пойдем ко мне в контору, – сказал директор совхоза. – Надо поговорить. Серьезно поговорить.

Мы пошли в его контору, и вот здесь самое время сделать абзац. Перекурить надо. Вам не хочется?..

В конторе никого не было, если не считать сладко спавшего старика с повязкой дежурного на рукаве. Ким провел меня в свой кабинет, достал из стола две вяленые таранки, молча почистил их, порезал и положил на газетку. Добавил к ним два стакана, вздохнул почему-то. Потом столь же сноровисто притащил откуда-то полдюжины пива, зажав по три бутылки меж пальцами обеих рук, и сказал:

– Теперь давай думать. Хорошо думать. По пунктам.

Он разлил пиво по стаканам. Я отхлебнул свисавшую пену, подумал и сказал:

– Пункт первый: паренька надо похоронить по-людски.

– Что значит, по-людски?

– Как пожелает мать. Если пожелает вскрыть гроб – вскрыем. Ее законное материнское право.

Ким задумчиво пил пиво и молчал. Я жевал таранку.

Кстати, очень вкусную: Ким понимал толк в еде.

– Знаешь, что это будет означать, кроме права матери? Это будет означать, что моему Андрею в свою часть возвращаться нельзя. Иначе я его в таком же гробу получу.

– Конечно, нельзя, – согласился я. – Поговорю с райвоенкомом, у меня с ним были когда-то неплохие отношения.

– А что может райвоенком в данном случае?

– Наметить пунктир. Не первый год замужем за родной армией.

– Мой сын должен служить, – твердо сказал Ким. – Я кореец, нам всякое лыко в строку вплетают.

– И это обсудим. У райвоенкома – старые знакомства.

– Тогда пункт второй. – Ким наполнил стаканы. – Андрею приказано не допустить, чтобы гроб вскрывали. Почему?

– Может быть, этот несчастный парень изуродован до...

– Выстрелом в голову?

– Выстрел мог разнести лицо так, что матери лучше не смотреть. Почему ты усмехаешься, Ким?

– Представил себе, как трогательно командование полка озабочено нервами матери. Нет, друг, о матери они и не подумали. Они себя выгораживают, а это значит, что мы...

Ким внезапно замолчал, уткнувшись в стакан. Я подождал, может, добавит ясности. Но пришлось спросить, потому что он продолжал молчать принципиально.

– Что – «мы»?

– Мы с тобой должны сейчас пойти и вскрыть гроб. Я об этом еще в гараже подумал, поэтому и Андрея отправил домой.

Молча допили пиво. Молча вернулись в гараж, где я и срубил один из цинковых листов с крышки зубилом. Ким светил фонарем.

В гробу не было никакого трупа. Гроб был пуст и гулок, как цинковый барабан.

Глава третья

1

– Стало быть, могилки у парнишки не будет, – вздохнул Ким. – Стало быть, зарыли его где-то, как собаку.

– Но зачем? Почему?

– Почему? Чтобы спокойно до пенсии дослужить. Когда труп поперек дороги, о него всегда споткнуться можно. А так – не обо что спотыкаться. Нет трупа – и путь свободен.

– Не понимаю, – я вздохнул. – Не понимаю я, и все тут. Не вижу никакой логики. Решительно.

– Логику ищешь? – усмехнулся Ким. – Мы университетов не кончали, вот и вся наша логика.

– Но логичнее было бы отослать гроб с телом. Ну, вскроют, допустим, ну, мать порыдает, ну, мы повозмущаемся...

– И кто-то, особо возмущенный, пригласит прокурора, который, что вполне возможно, и откроет дело. А так – никто никакого дела не откроет. Нет трупа – нет дела. И концы в воду. Начальство займет круговую оборону с массой свидетелей, которые подтвердят, что тело в гроб клали на их глазах при ружейном салюте и склоненном знамени. А что с ним случилось по дороге – спрос с сопровождающего офицера. А он уехал к родителям, что и случилось в действительности.

Тогда с кого спрос? Да с нас и спрос. Мол, сами вытащили, тайком захоронили, а потом устроили бучу. Чтобы пятно положить на нашу любимую и непобедимую. Вот какая у них логика, друг. Бронетанковая, ничем не прошибешь.

Помолчали. Невесело.

– Что будем делать? – спросил я.

– Хоронить. Только по-людски, как ты хотел, уже не получится. Значит, по-советски хоронить будем.

Отмороженным металлом слова его прозвучали.

– Как так – «по-советски»?

– Полный парад с оркестром и маршами по их нотам. Значит, с тебя – статья в газете. Редакционная. Что хочешь редактору наплети, но статья в местной газете «Путями Ильича» должна быть. В день... Нет, за день до похорон.

– Альберт, ты что-то заговорился. Какая статья? О чем?

Ким хитровато прищурился:

– Что-то я забыл, как называется ложная могила героя на родине?

– Кенотаф.

– Вот кенотаф мы ему и соорудим, африканский друг мой. А его без статьи в газете не соорудишь. А надо, чтоб оркестр играл. Чтоб цветами холмик завалили. Чтоб матери до земли поклонились. И чтоб помянули, как положено.

Все это он произнес внешне спокойно, но внутри его бушевала такая ненависть, что мне стало не по себе. Я стиснул его плечо, и мы долго молчали над пустым гробом. Потом

Ким сказал:

– Заделать, как было, можешь?

– Попробую. Нужна газовая сварка.

– Сейчас привезу. В гараж никого не пускай.

И вышел.

2

Редактора я знал: Глухомань – место тесное, в нее вся Россия вмещается. Знал, но, признаться, не дружил с ним. Когда-то приятельствовали, но после африканской турпоездки – как отрезало. Так – «здравствуй-прощай», не более. Ну, не нравился он мне, а почему не нравился, и сам толком объяснить не могу. Не нравился, и все тут. С первого знакомства и с первого его объяснения.

– Фамилия у меня – Метелькин, а не Метелкин, – предупредил он меня при знакомстве. – Я – сын метели, а не метлы. Тонкость, а? Тонкость, земляк, тонкость русского языка!

Вот к этой тонкости русского языка я и пошел на следующее утро. От болтовни типа «то-се» отказался с порога, сразу и весьма напористо приступив к делу:

– Тебе, товарищ Метелькин, скажу первому: в совхоз «Полуденный» привезли тело погибшего героя. Первого героя нашей Глухомани.

– Какого героя?

– Который погиб, прикрыв командира.

– Как так – прикрыв?

– Собственным телом. Упал на гранату, которая со страху сама собой вывалилась из руки необученного новобранца. И принял весь удар на себя. То есть не весь удар, а все осколки.

Прищурился Метелькин:

– Документ имеется?

– Имеется. С ним весь полк прощался со склоненным знаменем. Командир полка речь говорил, троекратный салют дали и прохождение роты почетного караула перед гробом.

– Ну, а документы где? – спросил редактор и перстами потер при этом. Будто взятку требовал. Я разозлился, и это – помогло:

– Дураком хочешь район показать? Спасенный им командир роты старший лейтенант Потемушкин с ними в Москву поехал, чтобы к ордену парня представили!

Сын метели задумчиво отмалчивался, и я выложил козырного туза, чтобы сдвинуть с места его привычную осторожность:

– И чтобы рассказали о нем в программе теленовостей! В хорошей мы луже окажемся, если ты, товарищ редактор, с заметкой опоздаешь.

– Вот это верно, – озабоченно сказал Метелькин и придвинул лист бумаги. – Диктуй.

Я, признаться, этого не ожидал, но отступить было некуда. С хода надиктовал целую заметку: как прощались с героем его боевые друзья, как до земли склонялось знамя и рыдал

седой командир полка. И уже на следующий день свеженькая газетка «Путями Ильича» лежала на столе первого секретаря.

Славика похоронили по-советски, но в закрытом гробу. Как уж там Ким уговаривал осиротевшую мать, я не знаю, но остальное было, как должно было быть. И оркестр, и цветы, и секретари райкома и райисполкома со всеми замами и помами, и их прочувствованные речи. И – цветы. Весь могильный холмик ими завалили, девушки совхозные постарались. А я на своем макаронно-патронно-винтовочном предприятии солдатский обелиск сварил. Со звездой наверху.

На поминках в совхозной столовой много было теплых слов, горьких слез и добрых рюмок, а когда уж и шумок поднялся, слово попросила осиротевшая мать. Совхозная медсестра Вера Иосифовна. И все сразу примолкли.

– Я знаю, что в городе Иерусалиме есть Стена Плача. Я никогда не понимала, что это такое – Стена Плача. Мы в России знаем, что такое подушка плача. К утру мокрая, хоть выжми... А тут – поняла. Славочка мой понять мне помог. Стена Плача – это когда дальше идти некуда. Некуда идти, не к кому и незачем. Мы в нее утыкаемся, в Стену Плача. Утыкаемся. Всех моих родных фашисты в Бабьем Яру расстреляли. Всех, до единого человека, даже трехмесячную Розочку, мою племянницу, не пожалели. Я их всех часто во сне вижу на русском языке. И никуда от вас не уеду. Вы уж простите меня, я горем вашим останусь. Здесь – Славочкина могилка.

Моего единственного сыночка могилка...

Она замолчала. Губы кусала, кровь по подбородку текла. И все молчали. А потом – встали. Как один. Ким первым встал, а за ним – все. Даже секретари со своими замами.

– Спасибо вам... – Вера Иосифовна поклонилась. – От всего осиротевшего сердца моего...

Рухнула на стул. Лидия Филипповна обняла ее, целовала, шептала что-то. А первый наш рюмку поднял:

– За ваше горе материнское...

3

Тут кончилось все, расходиться стали, но – тихо и аккуратно. Ким Веру Иосифовну своей супруге поручил, попрощался со всеми и увел меня в свой директорский кабинет. Достал припрятанную бутылку коньяку, плеснул в стаканы.

– Пусть ему чужая земля пухом будет. – Директор выпил, аккуратно поставил стакан на стол, спросил вдруг: – Почему нескладно живем? Почему убиваем тишком, хороним тишком, народы целые высылаем тишком? Почему, объясни ты мне! Тишок-то откуда идет?

– Жизнь подешевела. Не личная и не торговая. Общей жизни – копейка цена в базарный день.

– Из гнили тишок идет, – не слушая, продолжал он. – Когда пожар – треск стоит, рев, пламя. Когда потоп – тоже шума хватает. Когда землетрясение – и говорить от грохота невоз-

можно. А когда все тихонько-гладенько – значит, гнием. Заживо гнием, друг.

Я плохо его слушал. Я больше думал, как ему сказать о верном, но уж больно страшноватом совете райвоенкома. Пока Ким занимался похоронами, не говоря уж о посевной, я потолковал с райвоенкомом по душам. Это было не очень-то просто после моего африканского сафари.

– А почему ты просишь о переводе Андрея Кима? – спросил он. – Какие аргументы?

Реальные факты я открывать ему не мог, а потому сказал единственное, что тогда пришло в голову:

– Трудно ему там будет после смерти друга.

– А, понимаю, понимаю, – солидно сказал военком. – Понимаю и подумаю. Пощупаю почву.

Почву он щупал убыстренно и в день похорон тихо доложил:

– Существует только один способ. Жесткий, но зато – на все сто процентов с походом.

– Какой?

– Есть вариант послать его в Афган. По добровольному желанию, что будет оформлено соответствующим образом. Он – здоровый парень?

– Вполне. Почему спрашиваешь?

– Потому что имеется разнарядка в воздушно-десантную часть. Два месяца учебки и – в состав ограниченного контингента.

Вариант бесспорно был безошибочным, но как к нему отнесется Ким, я не знал, а потому и плохо слушал военкома.

– Это верняк, – сказал военком, когда мое молчание стало затяжным. – Никаких вопросов, а доброволец в боевую точку – сам понимаешь, как это потом для него скажется.

– При условии, что вернется, – я вздохнул, но руку военкому пожал с чувством.

А Ким тем временем продолжал свое. Наболевшее.

– Нас, корейцев, с Дальнего Востока в Казахстан депортировали, это тебе известно? Два часа на сборы и – пожалуйте в эшелон. А мы же – огородники. Огородники! Чем мы в степях Казахстана заниматься будем, об этом хоть кто-нибудь подумал? Я, например, сурков ловил с шести лет и сурчиной питался. Сосед-казах научил и ловить, и шкурки снимать, добрый человек был, царствие ему небесное. Я ловил капканами, шкурки сдавал, жир вытапливал, чтоб зимой мать с сестрами могли хоть чем-то кормиться, а сурков варил и суп хлебал.

Ким плеснул в стаканы, чокнулся, выпил. Сказал с тоской:

– Мы же – огородники. Лучшие в мире огородники!..

– Слушай, огородник, – решился я. – У райвоенкома есть предложение насчет Андрея. Готов все сделать, но решать тебе. И сейчас – завтра у меня с ним встреча по этому поводу.

– Что за предложение?

– Суровое.

– А все же?

– Афган. Оформят как добровольца, военком обещал.

Ким задумался, и разливать коньяк пришлось мне. Я налил и ждал, за что будем пить.

– Дельное предложение, – он не удержался от вздоха. – Бог не выдаст, свинья не съест. Лидии пока не говори, сам потом объясню.

– Афган, – я тоже не удержался от вздоха. – Афган, Альберт, – дело серьезное.

Ким горько посмотрел на меня. С корейским прищуром и полновесной русской тоской.

– Я своего первенца корейцем записал. Хотя выбор был: мать у него русская, сам знаешь. Остальных – Володьку и Катю – русскими, а его не мог. Предки мне не позволяли. Те, что в душе у каждого из нас сидят. И следят, чтоб не лгали!..

– Ну и что?

Спросил, как идиот. С полновесным советским идиотизмом.

– А то, что Славик покойный был евреем. И нам, любимым младшим братьям в братской семье народов – евреям, корейцам, немцам, калмыкам, чеченцам и так далее по списку, – приходится выживать, а не жить. Выживать. Я – кореец с орденом Ленина за целину, и я – директор совхоза. А остальные корейцы где? В шахтах, на лесоповале, в лучшем случае – за баранкой. – Ким неожиданно улыбнулся. – Это я выступление репетирую. Перед собственным сыном.

Вот какие абзацы ворвались в нашу глухومانную жизнь. Сплошные абзацы, и все – ступеньками вниз.

Как там дальше происходило – подробностей не знаю, но на проводы Андрея Ким меня пригласил. Шепнул при входе, пожимая руку:

– Для матери он в учебную часть уезжает, учти. Так и будем пока считать.

– А он и вправду сначала в учебку.

– Почему – в учебку? Он же второй год солдатскую лямку тянет.

– А потому, что из него за два месяца десантника сделают.

Ким помолчал, вздохнул. И сказал:

– Про десантников Лидии – ни слова. Просто – переведен в учебную часть.

Лидия приветливо улыбалась, стол ломился, с младшими познакомили и тут же отправили их в другую комнату, что мне, признаться, понравилось: не люблю, когда дети сидят вместе со взрослыми за водочным застольем. Хорошо время пролетело – и весело, и незаметно. А потом глава семейства вышел меня провожать вместе со старшим сыном. И сказал:

– Вот твой крестный отец, Андрей. Как бы там дальше ни сложилось, ты это запомни.

Глава четвертая

1

Признаюсь со всей откровенностью: Лялечка Тарасова, собственность глухومانских «Канцтоваров», появлялась у меня регулярно. Заранее звонила, сообщала шифр: «Иду на рынок». Это было всегда перед моим обеденным перерывом, и я, если не случалось ничего экстраординарного, говорил секретарше, что буду обедать дома, а появлюсь с легким опозданием, и удалялся с непременным заходом в магазин. Ветчиной хорошо закусывать армянский коньячок.

Я к Ляле ровно ничего не испытывал, кроме зверского плотского аппетита. Подозреваю, что и она ко мне – то же самое. Но встречи были необременительными, Ляля держалась в рамках «ты – мне, я – тебе», не строя никаких планов и не одурманиваясь никакими иллюзиями. Наша связь носила почти служебный характер с точно выверенным регламентом и отработанными правилами. Но противно от этого ощущения казенщины мне становилось не «до», а «после».

Вот такой абзац в жизни, отпечатавшийся в ней мелким шрифтом. Дамы сердца у меня не было, ловеласом и дамским угодником я тоже себя не ощущал, но против природы, как говорится, не поперешь.

Стыдно ли мне было тогда от такой имитации сердечной связи? Да нисколечки! Это потом, потом, когда появилось, что с чем сравнивать, я опомнился и тогда испытал стыд. Жгучий, как заматерелая крапива. Только душу все равно не почешешь, как бы ни мечталось об этом.

Вот так и шла моя грешная и далеко не безукоризненная жизнь. Думал ли я при этом о хорошо мне знакомом глухоманском заведующем скрепками и скоросшивателями? Да ни боже мой! И в голову мне не приходило, что я его как бы мордой в дерьмо... Нет. Да и дороги наши разошлись, и парился я теперь в другой бане.

Неизвестно, сколько времени продолжались бы наши... как бы сказать помягче... обеденные перерывы под коньяк. И чем бы все это могло закончиться – тоже не могу себе представить. Одно твердо знаю: моей законной супругой она бы не стала ни при каких обстоятельствах. Можно свести концы оголенных проводов двух энергосистем – и так поступает подавляющее (надеюсь) большинство населения. От их сближения возникает вольтова дуга страсти, которая не только пронизывает все человеческое естество насквозь, но и насыщает его озоном, искрами в глазах и жаждой жизни. А две канализационные трубы что могут создать при своем подсоединении?.. То-то же. Так пусть безгрешный бросит в меня камень. Интересно, где вы сыщете таких безгрешных? В мире, может, кто и сыщется, потому как там для подобных целей улица Пигаль существует. И все ходят чистенькими.

А у нас вместо улицы Пигаль – закрытое партсобрание по личному делу товарища имярек. У нас – блюдут нравственность на радость пенсионерам, а в насквозь прогнившей Европе устраивают вполне легальные, опрятные и скромненькие пункты очищения от скверны.

Зачем, спросите, я вздумал рассуждать на тему, про которую у нас даже думать непристойно, хотя все о ней думают?

Да еще второй, по сути, раз. Застряла у меня в голове эта Лялечка. Нет, не в голове – в совести застряла. И совесть эта проснулась, потянулась, усмехнулась и призвала меня к ответу.

Но прежде совести к ответу призвали другие органы.

Я ходил на работу пешком: Глухомань – территория пешеходного хождения. Ну, иду себе на работу, со знакомыми раскланиваюсь, у пожилых о здоровье спрашиваю, девушкам ручкой помахиваю, поскольку знаю, что в Глухомани я – один из самых завидных женихов. И все ладно, все хорошо, все – как всегда по утрам. Как вдруг...

– Позвольте прикурить.

Какая-то стертая личность. Личность без личности, незапоминающаяся, как говорится, без особых примет. Впрочем, не особых тоже нет. Нечто усредненное...

Только прикуривая, это «нечто усредненное» достает из кармана красную книжечку, сует ее мне под нос и – еле слышно:

– Пройдемте. За мной и – без суеты.

Екнуло во мне что-то физиологическое, поскольку я, как, впрочем, и все остальные граждане нашего прекрасного отечества, с детства впитал во все клетки суеверный страх перед владельцами подобных книжечек. Правильнее сказать, не столько перед владельцами как субъектами, сколько перед книжечками как объектами. А потому и пошел за неприметным во всех смыслах, лихорадочно соображая по дороге, в чем же это я прокололся. Проколоться я мог только на своей африканской гастроли, но мысли этой додумать не успел, потому что мы пришли.

– Прошу, – сказал обладатель могущественных корочек и распахнул передо мной дверь ничем не примечательного дома, возле которого не было никакой охраны.

Я вошел. Охрана была внутри. В фуражках с красными околышами.

– Со мной, – объявил стертый от долгого употребления сопровождающий и распахнул левую дверь.

Я оказался в некоем подобии предбанника, где стояла отполированная многими ерзающими задами скамья, возле которой тоже торчал охранник. За конторской стойкой.

– Зарегистрируйте, – сказал мой полупроводник и прошел в следующие двери.

– Паспорт, – охранник протянул руку, даже не взглянув на меня.

Я отдал ему паспорт. Он буркнул: «Присядьте», – и стал переписывать в конторскую книгу данные моего паспорта.

Я присел на скамью с душою, разбежавшейся во все стороны, и смутным ощущением конца. Не карьеры, не жизни, не чего-то вообще более или менее определяемого, а просто конца. Конца как такового. Вероятно, все, кто попадал в чистые руки меченосцев Железного Феликса, испытывали нечто подобное, не ведая за собой никакой вины. Просто – ощущение, и только. Всего-навсего – ощущение.

По счастью для моего здоровья, сидеть мне в этом ощущении пришлось недолго. Приоткрылась дверь, и наградивший меня этими ощущениями безликий субъект поманил меня рукой, приглашая пройти в кабинет.

– А паспорт? – туповато спросил я, поднимаясь.

– Получите при выходе, – сказал он и вдруг показал все резцы разом. – Если, конечно, это случится.

И я прошел в кабинет. Один. Тот, неопределенный, закрыл за мной дверь.

За дверью меня ожидала совершенно иная атмосфера. Правда, я знал из детективов о системе допросов сменными следователями: грубому противопоставлялся вполне, так сказать, человечный, а жестокому – добрый и мудрый. Но то детективы, а тут – натуральное КГБ, далекое от сантиментов и сентиментальностей, однако что было, то было.

Меня встретил у порога коренастый мужчина средних лет, вежливо обратился по имени и отчеству, попросил присесть.

– Несущественно, но, увы, необходимо. Так что извините.

Улыбнулся и виновато развел руками. А потом прошел на свое место, так и не сняв улыбки с рубленного долотом лица. И высекали это самое лицо отнюдь не из дерева квебрахо и уж тем паче не из мореного дуба, а из нашей что ни на есть родимой елки. И при всех улыбках оно выглядело жестким, сучковатым и недоделанным. Но за всем этим просматривались воля и упорство, прилипчивые и тягучие, как свежая смола.

«Этот сейчас расставит...» – подумал я, имея в виду мины-ловушки, но разговор потек совсем по иному руслу. О работе, о выполнении и перевыполнении, о друзьях и сослуживцах, о...

– Насколько нам известно, вы так и не женились, – сказал наконец нечто заветное мой визави. – Молодой человек, с положением и отдельной квартирой, с высоким окладом и перспективами... Что же так, а? Может, прежней супруге простить не можете?.. Извиняюсь, что вторгаюсь, но должность у меня такая, должность. Как говорится, и сам не рад, а – приходится...

Я молчал и слушал журчание его голоса. Вопросов он не задавал, и молчать мне было легко.

– Без женщин жить нельзя на свете, нет... – Он почти пропел эту фразу, и вдруг улыбка мгновенно исчезла с его лица.

И вперед он подался. Всем корпусом через стол.

– Только выбирать их надо поосторожнее с вашим-то допуском к гостайнам.

Что-то, как мне показалось, забрезжило в моей башке, озабоченной до сего момента только ожиданием, когда же еловый хозяин кабинета крикнет «Фас!» и сюда ворвутся... А тут вдруг этакое почти дружеское, условно улыбочливое примечание о вечной дамской ярмарке. Но – только забрезжило, почему я и сказал весьма осторожно:

– Ну, разумеется.

– А тут вы прокололись, – почти дружелюбно улыбнулся он. – Вступили, как говорится, в связь с женой уважаемого в нашем городе человека. Вы уважаемый человек, он уважаемый человек – зачем такие сложности? Городок у нас маленький, все друг друга знают, и уже пошли разговоры. Дамы – народ болтливый.

– Так поговорите с дамой. А вы меня почему-то весьма таинственно к себе вызвали.

Он улыбнулся. Будто треснула его еловая оболочка.

– Это, как говорится, для запевки, песня наша впереди, – он загадочно помолчал, пожевав губами. – Вы – руководитель совершенно секретного производства, подписывали соответствующую бумагу о неразглашении. Подписывали?

– Подписывал.

– А с подозрительным человеком, стоящим у нас на учете, – «вась-вась», как говорится. Неоднократно пьете водку. Признаете?

– Как могу признать, не зная, о ком вы говорите.

Он посмотрел на меня с мягким отцовским упреком.

– Не знаете?

– Понятия не имею.

– Понятия... – он нехорошо усмехнулся. – Поэтому и попросили зайти, что понятия не имеете. А понятие простое: Альберт Ким. Вы что, не понимаете, что зря у нас не ссылают?

Злость, которая вдруг жаром нахлынула на меня, вмиг расплавилась все мои генетические ужасы перед всемогущим ведомством. У них на крючке сидел Ким. Альберт Ким, с которым я вскрывал пустой гроб, тайну которого знали только мы оба. С моим лучшим другом, который считал меня крестным отцом своего первенца, записанного корейцем вопреки всем ужасам этого самого ведомства. И сказал об этом Андрею...

Я подался вперед, через стол, поближе к его еловой роже, и, зубов не разжимая, сказал негромко. Не для третьих ушей:

– А ты с работы не вылетишь, если я об этом разговоре напишу твоему начальству в Москву? Ты... Как тебя, старший лейтенант или майор? Ваша контора, помешанная на секретности, даже звания своих офицеров для нас засекретила. Ты... Засранец ты, понял? Я тебя раздавлю, как пиявку, если посмеешь тронуть Кима хотя бы пальцем, понял? У меня в Москве не просто рука, как вы любите говорить, у меня в Москве – кулак! Один раз стукнет, и от тебя мокрое место останется. Заруби это в своих мозгах!

Встал, отшвырнул стул, вышел из его кабинета и так рявк-

нул на дежурного, что он сразу же вернул мой паспорт.

И ушел, хлопнув дверью.

Никаких ни рук, ни ног, ни тем паче кулаков у меня в Москве – да и вообще нигде – не было. Я блефовал с помутнения рассудка от приступа ярости и за это мог бы и на нары загреметь. Но я об этом не думал. Да и времена несколько изменились.

А работать не мог. То есть на работе, конечно, ошивался, но старался все решения отложить хотя бы до завтрашнего дня.

И очень хотел увидеть Кима. Не поверите, к груди своей его прижать хотел. Он сурчиной мать с сестрами кормил с шести годов, пока эта сволота...

Ну, ладно. Абзац.

2

Выбросил я из головы елового блюстителя всенародной нравственности, а вот досады, что началась посевная, выбросить не мог, потому что она лишала меня свидания с Альбертом. Тем самым свиданием, которого я так хотел... Потому что посевная оставалась посевной, а Ким – Кимом. Это означало, что в летнее время мы с ним виделись редко: как правило, он уже в пять утра был в поле, поскольку кабинетов не любил, если в них не принимал гостей. На полевые работы – впрочем, как и на службу вообще, – он ходил как

на парад. В белой рубашке с галстуком, но – в кирзачах. Это было его делом. Главным ДЕЛОМ, тем самым, чем он жил прежде всего всей своей неугомонной душой.

Неугомонность требовала неординарности, и он вскорости ввел скользящий индекс премиальных, которые платил только женам своих работяг. Женам, а не самим работягам, и самое удивительное заключалось в том, что работяги помалкивали, а жены правили бал дома. Индекс предусматривал не только качество проделанной работы, но и отношение к ней. Пришел под хмельком – долой пять пунктов из пятнадцати, перечисленных на специальной доске премиальных в конторе. Опоздал на работу – долой еще три пункта. По твоей вине сломалась машина – сразу все пятнадцать. По субботам с утра директор совхоза лично рассчитывался с женами своих работяг, терпеливо разъясняя, почему одна получает меньше соседки или наоборот. И жены гоняли мужей куда энергичнее и суровее бригадиров.

Это дерзкое новшество не могло пройти незамеченным, и Киму вклеили выговор по требованию райкома партии... Он расстроился и разыскал меня в тот же день.

– Скотный двор мы построим, а не социализм с таким отношением к труду, – объявил он с порога. – Водка есть?

Водка, естественно, нашлась, а райком снял с Кима выговор по результатам уборочной. С той поры у него пошла чересполосица: выговор – благодарность в виде снятия выговора – орден за трудовые достижения, а потом почему-то

– снова выговор, и снова-здорово, как по-русски говорится. Усвоив это, Ким перестал расстраиваться, но от самостоятельности так и не избавился.

Но это так, между прочим. Главным для меня было все же то, что в период его затяжной страды мы не виделись, и это, признаться, меня огорчало куда больше, чем Кима – его партийные выговоры. Однако свято место пусто не бывает, и в отсутствие Кима у меня появлялись иные... нет, наверное, не друзья – это было бы слишком.

Лялечку после свидания с еловым спецпредставителем рыцарей революции я, естественно, из обихода вычеркнул. Просто так ответил на ее очередной звонок, что она больше и не возникала. Но приятели и даже приятельницы у меня иногда появлялись. И не представить их я не могу, потому что тогда последующее станет непонятным.

3

Моя бывшая Тamarочка прибежала ко мне на второй день прибытия к родным пенатам в слезах искренней радости. Я очень испугался, что она станет просить прощения и, не дай бог, вернется. Но она оказалась лучше, чем я предполагал. Во всяком случае – искреннее. Не заикнулась о собственной ошибке и не предложила тут же познакомиться с ее новым мужем и распить мировую. Просто радовалась, что я вернулся целым и невреди... Пардон, вредным, но – так сказать.

И еще радовалась, что в порыве комсомольского энтузиазма не сдала мою квартиру.

– Я – дура, дура, дура.

С ее комсомольским красавцем я, естественно, вскоре познакомился: Глухомань – пространство тесное и пересекаемое. На первом же активе – а я был и остался его членом, поскольку как бы воскрес, – ко мне подошел здоровенный битьюг спортивного вида и располагающей наружности, улыбнулся белоснежными зубами и сказал:

– Здорово. Новый муж. Не серчаешь?

– Не серчаю, – сказал я.

– Поступаешь верно и, главное, разумно, – сказал он. –

Спартак.

– Спартак – чемпион! – бодро ответил я.

– Да нет, это я – Спартак. Имя такое.

Ну, покалякали и расстались. И всегда после этого приятно калякали и еще приятнее расставались без взаимных обязательств. И такая позиция мне нравилась, поскольку была точной, а следовательно, мужской, потому что легко отстреливалась от возможного противника ничего не значащими словесными очередями.

Должен признаться, что я к новым знакомствам никогда особенно не стремился. Не умею я их безмятежно завязывать, не способен травить анекдоты в перерывах и поддерживать мужской подвыпивший треп в банях. Не дано мне этого от природы, я, так сказать, обделен этим, что уж тут поде-

лаешь. В этом есть и нечто хорошее, потому что спасает от обрастания неинтересными людьми. То есть в какой-то момент – скажем, разопрев в баньке и охладившись пивком, – кажется, что твой случайный сосед по бутылке и остроумен, и интересен, и даже загадочен, что ли, но что-то внутри тебя удерживает. А потом выясняется, что он – редиска в полном смысле слова. Внутри трухлявая, зато сверху – красная, как конь на какой-то картине. Но порой происходят события, весьма сходные, но – как бы с обратным знаком. И вот тогда я этот знак – чувствую. Ей-богу.

4

К тому времени, о котором веду речь, наши глухоманские железнодорожные мастерские разрослись настолько, что потребовали штатной должности главного инженера. Полагаю, что там начали клепать не только рессоры и чинить не только вагонные двери, но и сами мастерские, как объект стратегический, облагались как бы дополнительным производственным налогом, каким тогда облагались все более или менее годные фрезерные или токарные станки. Наша макаронная фабрика, к примеру, и до сей поры старательно перевыполняла план по винтовкам и винтовочным патронам, хотя от них уже ломились склады.

Но это так, к слову. Необходим абзац, чтобы не запутаться в собственной карьере.

Дело в том, что аккурат к тому времени меня назначили главным инженером по выработке всех глухоманских макарон. В том числе и калибра 7,62, но в отдельных охраняемых корпусах за колючей проволокой, в которых я до сей поры и трудился. А теперь переехал в кабинет главного инженера. С секретаршей, персональной машиной и шофером при ней. Так вот, о секретарше Танечке...

Когда мне выделили эту штатную единицу, я позвонил знакомой секретарше в райисполком и спросил, нет ли у нее на примете толковой девочки. Чтобы знала делопроизводство, умела вовремя подать кофе посетителю и, главное, помалкивать, поскольку производство у меня все же было комбинированным.

– Ты экстрасенс? – весело спросила она.

– Не знаю, не пробовал. А в чем дело?

– А в том, что неделю назад мы выпустили первых слушательниц курса секретарей-стенографисток. Есть там одна девочка, чудо, если его уже не забрали.

Чудо не забрали, и оно появилось у меня в кабинете утром следующего дня. И в кабинете сразу стало светло, будто внесли светильник в сто тысяч свечей.

А вошла просто-напросто рыжая девочка. То есть рыжее не бывает: от нее и шел какой-то странный свет в сто тысяч вольт.

Нет, о секретарше Танечке все-таки – потом. Сначала о неожиданном знакомстве, переросшем в добрую мужскую

дружбу.

На очередном райкомовском совещании первый секретарь представил нам коренастого черноусого мужика в отутюженном костюме:

– Главный инженер железнодорожных мастерских нашей Глухомани Кобаладзе Вахтангович... Виноват, Вахтанг Кобаладзевич.

Тут все заржали, и громче всех – сам Кобаладзе:

– Армянский анекдот!..

– Вахтанг Автандилович, – нахмурившись, сказал секретарь. – Извиняюсь, товарищ Кобаладзе. Очень извиняюсь.

Признаться, меня всегда воротит, когда просят прощения в такой, очень уж нашей, советской, что ли, форме. «Извиняюсь», насколько мне известно, означает «извиняю себя», а совсем не «прошу вас меня извинить». Но это так, к слову. Ворчун я африканского образца. Вахтанг был не из обидчивых.

После совещания по традиции направились в баню. И там, еще в парной, ко мне подошел новый главный инженер железнодорожных мастерских.

– Слушай, давай взаимно спинки потрем. Как смотришь?

– Нормально.

Я его надраил, потом – он меня. И удивился:

– Почему шрам где сидишь?

– На гвоздь в детстве напоролся.

– Ай-ай. Бывает.

И отошел. А в предбаннике, где, как положено, и стол уж был накрыт, оказался рядом.

– Не возражаешь?

– Давай выпьем, – я улыбнулся. – За спинки.

– За бронеспинки, – поправил он. Чокнулись, выпили.

Вахтанг сказал: «Вах!..» И пояснил:

– Знаешь, почему Россия пьет?

– А Грузия – не пьет?

– Зачем вопросом на вопрос отвечаешь, батоно? Ответом лучше отвечать...

– Веселие Руси есть пити. Это еще Владимир Красное Солнышко приметить успел.

– Тогда все могло быть: история. А теперь – грусть, а не веселье. А знаешь, почему грусть? Потому что водку Россия пьет. А водка с каждой рюмкой вкус отбивает, и тебе кажется – очень вкусно, пока под стол не свалишься. А вино само тебе говорит, когда невкусным становится. Почему, знаешь? Потому что водка – мертвая жидкость, а вино – живая жидкость. У нее голос есть. И наше застолье – всегда веселье. Тамада хорошие тосты говорит, люди смеются, песни хорошим хором поют. А в России сразу же выясняют: ты меня уважаешь? Обиделся?

– На правду не обижаются.

– Тогда не зови меня Вахтанг Автандилович. Длинно, а что длинно, то и скучно. Зови просто: Вахтанг.

Так у меня появился еще один друг. Чрезвычайно общи-

тельный, никогда не унывающий, всегда с готовностью идущий навстречу. Они быстро сошлись с Кимом, причем сошлись настолько, что я порой ревновал их как вместе, так и каждого в отдельности.

У Вахтанга была семья: жена Лана и двое парней-погодков, школьников старших классов. Как только Вахтанг получил квартиру, все семейство сразу же переехало в нашу Глухомань, и мы собирались по очереди то у Кимов, то у Кобаладзе. И, признаюсь, мне в грузинском доме было проще, чем в корейском. Не потому, что я предпочитаю грузинскую кухню корейской (поверьте, хорошо приготовленное тхе не уступает шашлыку), а потому, что Ким был по характеру чудовищно пунктуален, а Вахтанг – совершенно непредсказуем.

Однако пора и абзац перекурить. К чему, спросите? Ну уж это – совершенно особая статья.

Глава пятая

1

Что от афганской войны останется, когда последний, кто был там, помрет? «Груз-200». «Черный тюльпан» для потомков останется. Только и всего для всех осиротевших семей. Да и для нас тоже.

Я об этом подумал, когда первые два цинковых гроба из никому не ведомого Афганистана достигли нашей Глухома-ни. По общему счету – три, но первый был самодельным во всех смыслах, а эти два оказались профессиональными. Ладно сделанными, аккуратно. Стало быть, в Афгане у нас кто-то старательно трудится, производство налажено вполне профессионально.

Хоронили глухоманских афганцев с пышной торжественностью, скорбью, цветами, оркестром, официальными речами, траурными залпами и последним маршем взвода комендатуры. А могилы им определили рядом с кенотафом Сла-вика, и первый секретарь райкома объявил, что отныне здесь заложена аллея Героев.

- Значит, продления ждет, – шепнул Ким.
- Какого продления?
- Аллеи Героев. В цинковых гробах.

Я как-то о другом в этот момент думал. О случайном символе этого героического мемориала, что ли, поскольку началась аллея Героев с пустого самодельного гроба. Но Альберту об этом не сказал, не к месту было. Другое почему-то буркнул:

– Три «черных тюльпана» – это уже букет.

По Глухомани пронеслись рыдания и поминки, поминки да рыдания. Так сказать, семейные репетиции перед всеобщим будущим. Но долго репетировать завтрашнее горе нам не случилось, потому что его заслонило Официальное Сообщение. В газетах, по телевидению и по радио передавали одно и то же. Слово в слово.

Наши бдительные стражи границ сбили шпионский самолет-разведчик. Он вторгся в священные советские небеса, не отвечал на запросы, и истребители вылетели на перехват. Враг вздумал бежать в Японию, но не тут-то было. Простой советский ас своевременно нажал какую-то кнопку, и воздушный пират рухнул в морские волны.

Таков прямой перевод с эзопова языка наших официальных сообщений. Так сказать, голый подстрочник. В ярких одеждах официоза все выглядело куда как героически.

Однако в те времена уже существовали многочисленные вражьи голоса, которые жадно слушали наши особо любопытные граждане. Обычно голоса действовали розно, но тут слились в едином хоре, растолковав заключенным за железным занавесом, что сбитый ракетой самолет был пассажир-

ским. И совершал обычный рейс из Аляски в Корею. Но что-то там на его борту не заладилось с приборами, почему он и не мог ответить на наши вопросы. И погиб молча, унеся на дно Японского моря более двухсот шестидесяти человеческих жизней.

Тут уж отмалчиваться нашим властям стало затруднительно, и средства массовой информации сквозь зубы признали, что самолет и вправду был, во-первых, пассажирским, а во-вторых, корейским. Однако экипаж его по тайному сговору с американскими спецслужбами заодно с обычным рейсом выполнял и некое шпионское задание. Так что очень, конечно, сожалеем, но закон есть закон, и наши отважные ястребки действовали в строгом соответствии с боевым приказом, отданным на совершенно законных основаниях.

2

У нас, в Глухомани, тоже слушали не только громкие официальные сочинения, но и тихую несладкую правду. Власть упорно глушила вражьи голоса на всех волнах, тратя уйму денег, но чем дальше от Москвы, тем меньше было глушилок, а следовательно, и слушать было легче. И я слушал, и Вахтанг слушал, и Ким слушал тоже. Только Киму слушать было куда больнее, чем нам. И мы всеми силами избегали лобовых разговоров об этом истерически-патриотическом государственном преступлении. Отвратительном не только по-

тому, что погибли ни в чем не повинные люди, но еще и потому, что это преподносилось народу с газетных страниц и телевизионных экранов в качестве образца самоотверженного служения отечеству. Почему и летчик, сбивший рейсовый самолет, был награжден за отвагу и мужество орденом, что колокольным звоном звенело во всех квартирах нашей Глухомани.

Вероятно, под свежим впечатлением от этих фанфарных восторгов Вахтанг, угрюмо молчавший во время нашей тусклой беседы ни о чем, вдруг объявил:

– Совесть куклой-неваляшкой должна быть. Как хочешь ее валяй, как хочешь опрокидывай, а она все равно вскакивает. Опять положишь – опять вскакивает. Хоть на бок, хоть на спину клади. Умные игрушки люди для дураков придумывают.

– Золото в души людские с детства заливать надо, чтобы повалить их было невозможно, – очень серьезно сказал Ким. – Нравственность и есть то золото, которое нашей совести завалиться не позволяет. Она у каждого лично должна в душе быть, у каждого, чтобы никакой приказ твою совесть не обрушил.

– Военный приказ нельзя не выполнить, – возразил я, ощутив вдруг шевеление отставных капитанских погон на плечах и бурскую пулю в заднице. – У меня на фабрике патриоты орут, что все, мол, правильно, что так и надо, что, мол, война на носу, а у нас – мягкое подбрюшьё...

– Опрокинули нашу нравственность, – горько сказал Ким, не слушая меня. – Опрокинули. Значит, все золото вытопили из наших душ. Одно дерьмо осталось. А его как угодно валять можно. Хоть на бок, хоть на спину. Как властям удобнее, так и валяют.

– Ты неправ, батано, – Вахтанг несогласно покачал головой. – Есть капиталистическое окружение, понимаешь?

– Афганистан, по-твоему, тоже капиталистическое окружение? – Ким тяжело вздохнул.

– Наши южные границы – мягкое подбрюшье всего нашего Союза, на заводе недаром о нем вспомнили. И вражьи голоса недаром так его и называют.

– Так сделайте его крепким подбрюшьем, и дело с концом. Зачем наших ребят в Афгане гробить?

– А Афганистан американские империалисты займут, да? Нет, батано, извини, но так поступить нельзя. Они же к нашим границам выйдут. Вплотную! Нужно, чтобы между нами какая-то прокладка была, понимаешь? Как это называется...

– Предполье, – сказал я.

– Предполье! – подхватил Вахтанг. – Нужно создать там наш режим с помощью ограниченного контингента. А потом – Афганскую Советскую Социалистическую Республику. Шестнадцатую. Это называется геополитика. Гео!

– А самих афганцев мы спросили? Может, им совсем не хочется быть советской республикой, в гэ это наше не хочет-

ся. Почему мы никогда народ не спрашиваем, чего он хочет? Почему пастухов меняем, как нам хочется, а не баранам?

– Может, потому, что – бараны? Нехорошо, конечно, так о народе думать, но почему не понимают, что это – для их же пользы?

– И много пользы принесла советская власть твоей Грузии?

– Дружбу принесла! – вдруг раскрасневшись, выкрикнул Вахтанг. – Всем принесла, всем народам. Машины выпускаем, чай собираем, урожай снимаем, гостей принимаем, декады грузинского искусства в Москве празднуем! Зачем так говоришь: что принесла, что принесла... Нехорошо так говорить.

– Моему народу она тоже декаду выделила, – сказал Ким. – Крымским татарам выделила, чеченцам, калмыкам, немцам Поволжья, туркам-месхетинцам – сам можешь список продолжить, Вахтанг. Длинный он очень, всех, кого декадами осчастливили, и не упомнишь.

– А зачем врагам помогали?

– Каким врагам?

– Фашистам! Все же в газетах тогда объяснили!

– Те газеты ты запомнил, – усмехнулся Ким. – А то, что Хрущев на двадцатом съезде признал, запомнить уже не смог. Не тем твоя голова была забита, места для правды в ней не осталось.

– Не потому! Не потому! – горячился Вахтанг. – Опять

неправильно говоришь. Хрущев народ наш поссорить хотел, единства его лишить, за это партия его и сняла с поста генерального секретаря. Перед лицом беспощадного врага...

– Врагов все ищешь, – вздохнул Альберт. – Вот и завалилась твоя неваляшка в твоей душе. Значит, дерьмо там, а не золото. Было бы золото – не завалилась бы. Устояла.

– Зачем говоришь, что дерьмо в моей душе? Зачем так нехорошо говоришь? Я – за дружбу. За великую дружбу между всеми народами...

– Брэк!.. – сказал я. Замолчали. Но пыхтели оба несогласно, и мне пришлось сбегать за эликсиром русского миролюбия. Сбегал. Выпили, я завел какой-то вполне нейтральный разговор, и внешне все вошло в колею. Но Альберт был хмур и озабочен, а у Вахтанга глаза подернулись грустью.

3

С утра следующего дня пошли сплошные дожди. Будто где-то прорвало. Дожди были теплыми, грибными, но почва подмокла, и тяжелые трактора срывали ее со всех возвышенностей. Ким вынужден был прекратить работы и как-то утром прикатил ко мне на казенной «ниве», поскольку своей машины у него не было.

– Вчера борова пришлось заколоть. Внепланово. Зови Вахтанга, поехали шашлык жарить.

Однако Вахтанга мне уговорить не удалось: он хмуро со-

слался на служебную занятость. Так ли то было в самом деле или не так, я не знаю. Ким посокрушался, и в результате мы отправились к нему на усадьбу вдвоем. К тому времени ему, как директору, выделили для жилья отдельный дом с участком, где он и приладилась иногда что-либо жарить на свежем воздухе, даже если моросит дождь. Он любил костер, называл его живым огнем и утверждал, что все, изжаренное на нем, несравненно вкуснее любой еды, приготовленной в печке или на плите.

– Живой огонь. Древняя память о древнем вкусе.

Он в ту неделю оказался один: Лидия Филипповна увезла в пушкинские места очередную детскую экскурсию. Она делала это два, а то и три раза в год, загружая в арендованный совхозом автобус всех совхозных ребят, а заодно и глухоманских, так как свято верила, что историю надо постигать в местах исторических. С ней вместе поехали и Кобаладзе – Лана с мальчишками. И, таким образом, мы с Кимом оказались вдвоем на ведро шашлыка.

На участке дети Кима по его указаниям выложили из кирпичей место для кострища («чтобы землю зря огнем не обижать», как пояснил Ким). В этом кирпичном корытце Альберт и развел костер, когда внезапно к усадьбе подкатила милицейская машина. Из нее вылез сам заместитель начальника всей нашей милиции майор Сомов, открыл калитку и напрямик направился к нам. Козырнул, пожал руки. И все – молча и как-то странно отсутствуя при этом.

– На шашлычок пожаловал, – сказал Ким. – Хороший у тебя нюх, товарищ милиция.

– Что? – Майор точно опомнился. – Плохой. Не унюхал. А ведь должен был. Должен был унюхать!

– Что ты мог унюхать, когда мы только-только огонь развели. Разве что запах дыма. А должно жареным пахнуть.

– Пахнет, товарищ Ким. Еще как пахнет.

– Что-то ты темнить начал, майор.

Майор глубоко вздохнул, достал из пачки папиросу, прикурил. Помолчал, еще раз вздохнул и наконец спросил:

– Где сейчас находится медсестра Рабинович Вера Иосифовна, товарищ директор?

– Вчера ей отпуск на неделю подписал, – сразу посерьезнев, сказал Ким. – Хотела в Киев поехать, вроде билет на сегодня приобрела.

– Больше ничего не сказала? Припомни, Ким, важно.

– Сказала. К своей Стене Плача поеду, так сказала. Что-нибудь случилось, майор?

– Вот туда и мы поедем.

– Куда?

– К ее Стене Плача. – Майор швырнул недокуренную беломорину в костер и, не оглядываясь, пошел к милиционерскому уазу. – Воспитатели, мать их. Суют мальчишкам боевые гранаты...

Мы шли сзади, и оба молчали. В душе моей тревога росла с каждым шагом, но я не знал, о чем она предупреждает. И

Ким не знал и шагал молча впереди меня, засунув почему-то руки в карманы, чего раньше никогда не делал.

Уазик домчал нас до кладбища мигом, и, кажется, мы уже все поняли. Молча вылезли, молча пошли по аллее Героев за широко шагавшим майором. И остановились возле первого железного обелиска со звездой, под которой был захоронен пустой гроб из цинковых пластин от патронных ящиков. Остановились как вкопанные.

На могиле, усыпанной живыми цветами, купленными на самые последние деньги, лежала Вера Иосифовна, обняв подножие солдатского обелиска.

– Вот ее Стена Плача, – сказал майор. – Ох, до пенсии бы дослужить поскорее, мать твою...

Были тут тогда врач, милиционеры или они возникли позже – не помню. Не помню. Помню, что рядом все время вертелся заведующий кладбищем и говорил, говорил...

– Могилка-то – на охраняемой аллее, товарищ майор. А я всегда по тропочкам да дорожкам за порядком слежу. А с дорожки аллея Героев плохо проглядывается, не видно ее с дорожки, не видно. Ну, я при обходе заметил, что мать на холмике лежит, но не придал внимания. Афганцев недавно хоронили, ну, думал, мать лежит. Матери часто на холмиках лежат, частое дело, обыкновенное. Конечно, бдительность надо было проявить, виноват, но – частое дело, товарищ майор. Нагляделся я при моей службе, пообвык...

Уже потом, потом мы сидели у потухшего костра на усадь-

бе Кима. Пили водку, закусывая сырым шашлыком прямо из ведра. Ким раскачивался, как китайский болванчик, у меня в голове скребло будто ножом по тарелке, а майор материл всех подряд.

– Как же так?.. – спросил я кого-то. Кого – и сам не понимаю, просто невольно мне вдруг стало молчать.

Ким продолжал раскачиваться.

– Дошло до тебя, директор? – Майор поднял стакан. – Тогда помянем. Чтоб опять в делах память не похерить.

– Самолет корейский сбили, – тихо сказал вдруг Ким невпопад и залпом выпил.

Я ничего не понял. Ни вопроса майора, ни странной фразы директора. И спросил весьма тупо у майора, оставив слова Кима без внимания:

– А что должно было дойти?

– Мне утром позвонили. Какая-то женщина. Афганская мать, наверно, сыночка навестить пришла, увидела и звонить побежала, пока заведующий с могильщиками похмелялся на глухой тропинке. Я со всей группой, какая положена, выехал, обнаружил и сразу же на квартиру к покойнице. Может, записку какую оставила, может, еще что увижу. И увидел.

Майор замолчал. Сунул в рот кусок сырого шашлыка, жевать принялся как-то особенно старательно.

А мы ждали, что еще скажет. И повисла пауза. Тяжелая, как бетонная плита.

– Что увидел? – спросил я наконец.

– Стол накрытый увидел. Тарелочки разложены, вилки-ножики. А посередине – стакан с водкой, куском хлеба накрытый. И только на месте хозяйки, как можно судить, пустая рюмка из-под водки и бутерброд надкушенный. На кухне – тарелки с закуской, колбаска нарезана, хлебушек. Все нетронуто, все – гостей ждет. Стол, закуски на ее медицинскую зарплату. Только не дождалась она гостей. Одна помянула сына и – пошла к нему. Такие вот сороковины по ее сыночку получились, стало быть, господа-товарищи начальники...

И снова повисла пауза. Тяжелее бетона.

Глава шестая

1

Андрей уже был в Афганистане. Писал часто, аккуратно проставляя даты в верхнем углу странички. Письма были обыкновенными, солдатскими: здоров, сыт, все хорошо. О боях ни слова, но, думаю, что не из-за военной цензуры, а вследствие отцовского воспитания и прямого наказа: «Женщин не беспокоят, если они не могут помочь». Правильным было воспитание, и правильным был наказ. Ким воспитывал старшего по-мужски, и сейчас настал черед младшего. Хороший был парнишка, но чуть балованный, как то часто случается с последними детьми, которые остаются в семьях младшенькими на всю жизнь.

А я привязался к двум сорванцам Вахтанга – Тенгизу и Теймуразу. Их называли на одну букву, и я спросил, нет ли в этом какого-либо тайного смысла.

– Обязательно, – улыбнулся Вахтанг. – Чтобы оба бежали, когда одного позовут.

Парни гоняли в футбол, став вскоре одними из самых известных футболистов среди мальчишек нашей Глухомани: «Если одолжите нам одного из ваших грузин, тогда будем играть. А так не будем, все равно выиграете». Как они умудри-

лись так научиться играть, не знаю, поскольку времени у них было куда меньше, чем у остальных юных футболистов. Мама Лана занималась с ними музыкой ежедневно, а отец сурово требовал пятерок решительно по всем предметам. Ограничиваясь всегда одной-единственной фразой:

– Вы – грузины. За вами – вся Грузия.

Я однажды пошел за них болеть, орал, попал под проливной дождь и заболел натурально. Валялся один в своей квартире, еду мне таскали то кимовские, то вахтанговские ребята, вечерами непременно навещал кто-либо из старших, но днями мне было невесело.

Так продолжалось три дня. На четвертый утром осторожно постучали в дверь.

Я ее никогда не запирал и крикнул, что, мол, толкайте и входите. Но крикнул с некоторым опозданием, потому что мои юные друзья должны были бы быть в своих школах.

– Можно мне войти? – спросил девичий голос, приоткрыв дверь.

– Попробуйте.

И вошла секретарша Танечка. С нагруженной авоськой и кастрюлькой – на двух тесемочках, продетых сквозь ручки.

– Это я.

– А почему ты не на работе?

– Потому что вы болеете три дня, и я взяла три дня за свой счет.

Логично. Танечка была из когорты тех милых толстушек,

которые логичны от зари утренней до зари вечерней. Таким всегда невольно улыбаются, получая в ответ совершенно серьезное выражение лица. В них все чрезвычайно основательно сотворено. Круглые глазки, аккуратный носик, пухлые губки и словно циркулем очерченное личико. Их пропуск в будущее – серьезность и рассудительность, выданные природой про запас на все случаи жизни.

Но все это не для меня – для будущего счастливого супруга. Только я просто глаз не мог оторвать от ее рыжей головы и детских веснушек. И сказал вдруг:

– Здравствуй, Рыжик.

А она сердито нахмурилась. И строго сказала:

– А то уйду.

– Больше не буду, – с искренним испугом сказал я.

– Где у вас кухня?

Я молча показал пальцем. Она с достоинством прошествовала на кухню, разогрела кастрюльку с тушеной картошкой и кормила меня молча, серьезно и даже без улыбок. Я тоже молчал и не смел улыбаться, но по причине вполне естественной: просто не успел побриться, поскольку никого не ожидал и болел всласть. Кроме того, такие девы всегда свозывали меня по рукам и ногам, так как не подходили под расхожий стандарт современных девиц. Было в них что-то не столько от барышень-крестьянок, сколько от крестьянок-барышень. Это – дочери Евы, потомки ее прямые, и таковых на Руси всегда хватало, но при советской власти они почти

все куда-то подевались. Может быть, переселились в Красную книгу женщин России.

Ожидаете любви и связанных с нею походов? Тогда придется потерпеть.

Абзац.

В каком-то романе, уж и не упомню в каком, но бесспорно русском, я прочитал наставление отца сыну перед свадьбой. И звучало это наставление приблизительно так:

«Предлагая барышне руку и сердце, ты подкрепляешь это предложение всей нашей честью, поскольку твоя честь – отнюдь не личная собственность, а – родовая. Это честь твоих предков и твоих потомков одновременно. Ты готов поручиться своей честью, честью предков и потомков своих, что никогда, ни при каких обстоятельствах не нарушишь своего обещания помогать ей в трудах и болезнях, делить с ней все беды и горести и расстаться с нею только на смертном одре? Взвесь свои силы и, если готов, получи мое благословение. А если нет, никогда более по сему предмету ко мне не обращай».

Так вот, совесть моя предупреждала меня, что к таким рассудительным, таким старательно живущим девочкам орлами не подлетают и коршунами над ними не кружат. Эта девичья порода создана для уюта, для семьи, для продолжения рода человеческого. Сломать можно все что угодно – мы вон умудрились даже Волгу-матушку сломать, колыбель собственных песен, – только ведь потом не починешь. Как реку

Волгу, так и девичью изломанную судьбу. Никогда не почи- нишь. Нет таких мастерских.

А потом я вдруг куда-то провалился. Я был мальчиком, который сверлил пальцем стену, зная, что это плотина. То есть я оказался полной противоположностью тому голланд- скому мальчику, который заткнул дырку в плотине пальцем и спас свой город от затопления. Он затыкал, а я мечтал рас- ковырять. Мечтал до боли, до какого-то исступления, чтобы на меня хлынул поток, чтобы мне было нежарко, чтобы не так мучительно хотелось пить.

И я проковырял эту плотину. Почувствовал прохладу, от- крыл глаза и увидел склоненную надо мною очень серьезную Танечку. На моей голове лежало влажное полотенце, воз- ле губ я ощутил чашку, глотнул холодного чаю и идиотски спросил:

– Почему ты не на работе?

– Я на работе, – совершенно серьезно ответила она. – Сей- час приедет скорая помощь.

– А сколько времени?

– Ночью больные спят, а не разговаривают.

И я опять провалился, но мне уже не нужно было раско- вырывать плотину. Я просто спал, а потом приехал врач. Он назвал это кризисом, сделал мне укол, и я снова заснул.

Зимой приехал Андрей со своим новым другом. Друга звали Федором, он был здоров, как авангардный бык, и вообще скорее вытесан топором, нежели изваян резцом скульптора. Андрей повзрослел, раздался в плечах, но по-прежнему был малоразговорчив и по-прежнему не пил при отце даже вина. А фронтовой друг, напротив, болтал сверх всякой меры и припадал к рюмке при первой возможности и даже при отсутствии оной.

– Кореш, ты же крутой парень! Почему не пьешь? Батя, он тебя стесняется, что ли? Так разреши ему ради того, что жив остался! Хоть стакашек один разреши.

– Я не запрещаю, – хмурился Ким. – Андрей – мужчина. Мужчина все решает самостоятельно.

– Андрюха – герой! Два ордена и ранение!.. Андрюха, давай налью рюмашечку под тост номер три.

– Наливай. Только пить буду воду. Уж извини.

– Андрюха, ты че?.. Мусульманин, что ли?

– Я – кореец. – Андрей с трудом, через силу улыбнулся. – У нас не полагается пить при отцах.

Андрей был похож на корейца куда меньше, чем я – на африканского негра: он удался в мать. Но считал себя таковым, и никакие доводы друга не помогали.

– Прими их у себя, – попросил Ким. Помялся и пояснил:

– Пусть как следует выпьет. Я ему все о самоубийстве Веры Иосифовны рассказал.

– Зачем? Парень на недельку из ада вырвался, а ты...

– Он мужчина. К тому же он ее навестить собирался. Так что – пришлось.

Я пригласил афганцев к себе, заодно упросив прийти и Вахтанга. Для хороших тостов. Пока Вахтанг с Федором накрывали на стол, я увел Андрея на кухню.

– Знаю, что отец рассказал тебе о смерти Веры Иосифовны.

– Да.

Сквозь стиснутые зубы это «да» выдавил. Сплющилось это подтверждение настолько, что я сразу разговор перевел:

– Ты надолго?

– Как она умерла?

– Отравилась. Точно не знаю, но, кажется, цианистым калием. Мгновенно и безболезненно.

– Безболезненно – это точно.

– Не надо, Андрей, – я вздохнул. – Случившегося не воротишь, а душу замучаешь...

– А душа и дана человеку, чтобы мучилась.

– К столу! – заорал Федор из комнаты. Мы взяли приготовленные закуски и вышли из кухни. Вахтанг провозглашал тосты, Андрей пил, но немного, а его приятель – пил и много говорил. Компания была мужской, и он не стеснялся в выражениях.

– Я ему ору: Андрюха, духи в скалах! Духи в скалах хоронятся, мать твою!.. Какое там, и уха не повернул! Первым с вертушки на камни прыгнул, как только ноги не переломал. Но, по везухе, упал, и очередь над головой прошла...

Ну, и в таком стиле под три бутылки. Я понимал, что он гордится Андреем, но чувствовал, что сам Андрей внутренне страдает от этой очень уж громкой его гордости. Он был очень застенчивым и скромным пареньком в те времена.

– Завтра мы с Федором уедем, – сказал он, прощаясь.

– Куда уедешь? А родители?

– Так ведь... – Андрей замялся. – У него – тоже родители. Я обещал.

– А еще-то приедешь? Или прямо в Афган?

– Приеду, крестный. Слово.

Впервые назвал меня крестным, и я несколько смутился. А он с того вечера только так ко мне и обращался.

3

Они ушли довольно скоро («по бабам прошвырнемся», как объяснил мне Федор, но – шепотом, чтобы Андрей не слышал). Они ушли, а Вахтанг задержался. Помогал убирать со стола, потом мыл посуду и молчал. Хмуρο как-то молчал.

– Выговорился на тостах? – спросил я.

– Нет, – он вздохнул. – Значит, сказал, что к родителям Федора завтра поедут?

– Не совсем так, но вроде – так.

– Не нравится мне это, – вздохнул Вахтанг.

– Почему не нравится? Обычное дело.

– Федор мне подробно свою детдомовскую биографию изложил, пока вы с Андреем прошлое вспоминали.

Я, признаться, несколько опешил:

– Он – из детдома?

– Кто-то что-то сочиняет, – вздохнул Вахтанг. – Только зачем – вот вопрос. Киму не говори. Парни мужчинами стали, у них – свои проблемы. Может, с девушками списались, дело житейское.

4

На другой день Андрей и Федор уехали. Вернулись через три дня и тут же с непонятной торопливостью улетели в Афган. Я поколебался, но все же спросил Кима:

– Что-то случилось?

– У мужчин могут быть дела, отцам неподотчетные.

А спустя две недели после их отъезда я получил повестку с просьбой посетить райвоенкомат.

– Что за проблемы вдруг, Григорьевич? – спросил я военкома. – Я же белобилетчик.

– Проблемы – в моем кабинете. Подожди там, к тебе зайдет товарищ. Из военной прокуратуры.

– Из прокуратуры?

– Дознаватель. Что-то уточнить хочет.

Не успел я перекурить, как вошел немолодой мужчина в гражданском. Молча показал удостоверение, сел напротив.

– Курите, это просто разговор, – сухо этак сказал. – Без протокола. Андрея Кима хорошо знаете?

– Достаточно. Что-нибудь случилось?

– Нет, ничего. И все же разговор этот должен остаться между нами. Очень прошу ни в коем случае не посвящать в него родных Андрея Кима. И вообще никого. Абсолютно.

– Андрей ранен?

– Повторяю: с ним все в порядке. Исполняет свой интернациональный долг с отвагой и честью. Вопрос касается его отпуска.

– Какой вопрос?

Я не совсем уж отчаянно отупел. Я изо всех сил играл отупевшего советского человека, который приучен бояться дознавателей из прокуратуры с пеленок.

– Он уезжал из совхоза «Прохладное»?

– «Полуденный».

– Что?

– Совхоз называется «Полуденный».

– Оговорился. Так Андрей Ким куда-нибудь выезжал?

– Выезжал. Вместе со своим другом. Навестить его родных, но куда – не могу сказать. Не знаю.

– Странно. Очень странно.

– Что именно?

– У его друга, рядового Федора Антонова нет никаких родных. Он вырос в детдоме, и даже фамилию ему дали именно там. По достижении шестнадцатилетнего возраста.

– А при чем здесь Андрей Ким?

– Он сказал вам, что едет навестить родителей Федора Антонова, не так ли?

– Вполне возможно, что имелась в виду девушка Антонова. Допустим такой вариант?

Дознаватель подумал, что-то записал в блокнот и сказал:

– Проверим. Больше ничего не припоминаете? Какие-нибудь разговоры.

– Нет.

– Он не собирался посетить часть?

– Какую часть?

– В которой служил до того, как выразил желание добровольно исполнить свой интернациональный долг?

Что-то во мне опасно шевельнулось. Этаким синдромом настороженности. Но никакой беседы по этому поводу у меня тогда с Андреем не возникало, и я признался в этом дознавателю с полной откровенностью:

– Черта он не видал в этой своей части.

– Хорошо, – сказал военный дознаватель, поднимаясь. – Спасибо за информацию.

– На здоровье. А что все же случилось?

– Что случилось? – Дознаватель помялся. – Командир роты старший лейтенант Потемушкин пропал.

Я... Окаменел?.. Нет. Обалдел?.. Тоже не то слово. Я об-
мер, потому как подумал, что приехал дознаватель не даром.
Потому подумал, что до всякой иной реакции успел увидеть
его взгляд. Два сверла. И – уши. Они в мою сторону развер-
нулись, как у слона.

Вот так. Такой абзац.

Глава седьмая

1

Умные головы наверху ввели для всего прочего населения Великой Советской Социалистической Державы (ВССД – так называл ее Ким в частных, разумеется, разговорах) некий полусухой закон, полагая, вероятно, собственных граждан слегка придурковатыми, что ли. Продажа водки и прочих сильно горячительных напитков была загнана в узкие временные рамки, не совпадавшие как с началом, так и с концом обычного трудового дня. А поскольку на руки выдавалось не более двух бутылок зараз, то сразу же появился азарт, который все выдавали за повышенный спрос. На самом-то деле возникла некая неизученная форма протеста: «Ах, вы указываете нам, кто, когда, с кем и сколько? Так будет столько, сколько мы захотим, а не столько, сколько вами указано». И в очередях выстраивались отнюдь не алкаши, а, как правило, мало пьющие, а то и вообще не употребляющие протестующие, женщины и старушки.

Пьющие и алкаши пошли своим путем. Для начала ожидали ржавевшие без дела самогонные аппараты, щедро угощая милицию, которой в водочных очередях появляться было не с руки. Это устраивало обе стороны, и борьба с само-

гоноварением превратилась в четко распланированную и заранее оговоренную операцию.

– Иваныч, у тебя старый самовар (это – шифр для посторонних ушей) найдется? – спрашивал, к примеру, участковый доброго знакомого. – Давно я, понимаешь, металлолом не сдавал, а у нас – план.

– Понял. Когда придешь?

– Да часиков в девять. Не рано?

– Нормально, под первачок. Только бутылку захвати. А металлоломом мы тебя обеспечим!

Это – в среде, так сказать, вечно соседской, в которой каждый друг другу – поневоле брат. А рабочий класс по законенелой привычке выпивал свою порцию без отрыва от производства. У меня, например, в красильном цехе, где трудились над прикладами, пробавлялись политурой, заранее насыпая в нее соль, чтобы выпал осадок из спирта. На участках, где имели дело с клеем БФ, с утра, еще до трудов праведных, привешивали емкость с ним на пояс, а потом тряслись у станков, за что и назывались трясунами. От приплясываний жаждущего тяжелые взвеси сбивались, спирт очищался, и трясун получал выпивку аккурат к обеду. Ну, и так далее, и тому подобное – всех ухищрений и не перечислишь.

У нас в Глухомани местное начальство вообще распорядилось выдавать по одной бутылке в руки, стремясь заручиться благосклонностью области, но область промолчала, а народ взроптал. Особенно когда выяснил, что суровая эта

мера как самого районного руководства, так ихозпартактива не касалась, потому что в закрытом райкомовском буфете все продавалось без всяких ограничений, но с новыми правилами – отпускать только при наличии портфеля.

И все теперь ходили в райком исключительно с портфелями. Я тоже, а Ким заартачился и перешел было на спирт, которого в совхозе было достаточно. Вахтангу это не понравилось:

– Зачем мертвую воду пьешь, батоно?

– Регуляторов не люблю.

– И я их не люблю, слушай. Но лучше я тебе райкомовскую водку буду приносить.

Словом, провалилась эта кампания борьбы за всеобщую трезвость, но свое дело сделала. Ячейки, парткомы и особо нравственные доброхоты ретиво собирали компрометирующие письменные свидетельства, до времени складывая их под сукно, с тем чтобы при случае вывалить на стол любой комиссии, а то и самому первому. Это был перемет, переброшенный через поток последних удовольствий советских граждан. И многие тогда подсели на крючок.

Об этом мы толковали, сидя за бутылкой в сарае директора. Альберт был большим аккуратистом, и в сарае было уютно. Все теперь старались угощаться в сараях, подвалах, чердаках или на природе. Поглубже и подальше. И мы не стали исключением из предложенных властью новых правил игры.

– У нас же все умножается, любое решение партии! – воз-

мущался Вахтанг. – В республиках всякое благое начинание умножат на два, в областях – на четыре, а в районах – на все шестнадцать. Оттуда уже радостно докладывают, сколько гектаров виноградников вырублено в борьбе за трезвость. А ты знаешь, сколько лет надо виноградную лозу выращивать? Знаешь?

– Я знаю, что Россия пила, пьет и будет пить, – усмехнулся Ким. – Пить и воровать. А все потому, что смысл жизни люди утеряли. Зачем жить, ради чего жить... Золото из нас, ванек-встанек, вытоплено, и валяют нас с боку на бок, как котят.

– Неправда твоя, неправда! – горячился Вахтанг. – Смысл есть, великий смысл! Он всенародной дружбой называется!.. Великой и нерушимой дружбой всех советских народов.

– Говорено-переговорено об этой дружбе. Я тебе о смысле толкую, а не о дружбе народов. Раньше у этих братских народов был хоть какой-то смысл. Хрущев через двадцать лет коммунизм обещал объявить – чем не смысл? Вот тогда, через два десятка лет, можно было бы без всякого риска брать все, что только душа пожелает. А Брежнев вместо коммунизма взял да и объявил Олимпиаду. Ну, все попрыгали, побегали, и смысл исчез. Испарился вместе с потом. Тогда и решили тянуть все, что плохо лежит, пока власть еще какого-нибудь смысла не придумала. Столь же содержательного, как и борьба с единственным народным утешением.

– Вредный ты, Ким, – сокрушенно вздохнул Вахтанг. –

Это все временные трудности, а дружба – на века.

– Вот за это и выпьем, – сказал я, чтобы перевести разговор на другие рельсы. – За нашу дружбу выпьем. За мужскую.

Чокнулись мы.

2

Словом, вертели нами, как хотели, никогда не обсуждая в прессе очередного всеобщего коловращения, а уж тем паче не спрашивая нашего мнения. Стоимость привычного горячительного напитка, которым советские люди привыкли лечить нестерпимую почесуху в собственной душе, резко возросла, заменители – политура или тот же клей БФ – в конечном итоге оказались на грани исчезновения, и по стране с эпидемической силой расползлось нестерпимое желание что-либо спереть на работе. С тем чтобы загнать за бутылку и таким путем прикрыть семейный бюджет или просто так, назло начальству. Хоть пачку бумаги или горсть скрепок. Зачем? А черт ее поймет, эту загадочную русскую натуру. Может, ради компенсации за грошовую зарплату. И все это отлично понимали, почему и ласково называли таковых несуннами.

– Окна повынимали! – негодовал Вахтанг. – Из пассажирских вагонов, что на запасных путях до ремонта отстаивались. Вместе с рамами аккуратно вынули и унесли, представ-

ляешь?

– Представляю, у меня тоже – аккуратно, – усмехнулся Ким. – Вариант первый. Молоковоз заправляется из молокопровода, водитель подписывает документы и долго-долго возится, отсоединяя молокопровод. А когда все уходят, опускает в молоко брусочек маслица на веревочке и закрывает люк. Пока едет, трясет машину по всем кочкам, какие только встретит. А по прибытии на молокозавод в очереди на сдачу – там всегда очереди – открывает люк и вынимает целый масляный шар.

– Головастый ворюга!

– Погоди, вариант второй. В цистерну заранее опускается пустое ведро на веревке. Когда цистерна заполняется молоком, ведро заодно тоже заполняется. Машина отъезжает, водитель останавливается в условленном месте, открывает люк, достает полное ведро и аккуратно подает его ожидающей жене. И детишки получают молочишко.

– Сажать надо! – гневно кричит Вахтанг.

– Всех не пересажаешь, друг. Никакой охраны не хватит.

У меня тоже перли с макаронного производства как в упаковках, так и россыпью, и бороться с этим было практически невозможно. Я и не боролся: всех работниц все равно никакая охрана не перешупает, особенно хорошо знакомая. Так оно и шло, как везде, пока... Пока перепуганный заведующий складом не доложил при встрече. Очень перепуганным шепотом:

– Исчез ящик... это... окончательно. С четырьмя секретными продукциями.

– Что значит, исчез?

– Еще вчера стоял на складе возле дверей. На место положить не успели. Вот, значит...

– Ну? Чего замолчал?

Завскладом гулко сглотнул:

– Сегодня прихожу – нету. Все обыскал, с описью сверился – исчез ящик.

Подобного у нас еще не случилось. Патроны, вероятно, таскали, но не в цинках, а, так сказать, россыпью, за которой невозможно было уследить. Но чтобы свистнули аж четыре боевые винтовки в заводской упаковке вместе с ящиком – такого до сей поры не бывало. Поэтому я и переспросил. Довольно тупо:

– Убежден?

– Все перерыл. Нигде.

Ох, как же я боролся с этой решительно никому не нужной спецпродукцией! Особенно когда назначили директором всего макаронно-патронно-винтовочного предприятия. Патроны калибра 7,62 миллиметра еще имели хоть какой-то смысл, но винтовок того же калибра уже не покупали даже любящие пострелять африканские племена. Планово у нас кое-что брали для караульных и охранных команд, да чуть ли не штучно – спортивно-патриотические организации, и больше никаких заявок не поступало. Я умолял хо-

тя бы уменьшить план, но его держали на постоянном уровне, поскольку наши верховные вожди больше всего на свете боялись безработицы. И этот уровень приходилось перевыполнять хотя бы на десяток винтовок, так как за перевыполнение полагалась премия. Невостребованная спецпродукция забила склад до самого верха, я прятал ее, где только мог, порой в совершенно неподготовленных для этого помещениях, и – снова перевыполнял план.

– Утрату спишем на брак, – сказал я. – Ты хотя бы тетку погорластее туда поставь.

– А штатное расписание? Там сторож не предусмотрен, ему зарплату платить надо, а откуда возьмем?

– Подумаю, – я вздохнул. – Делай, что сказал.

3

Пока завскладом прятал пропажу в браке, я соображал, что делать. И ничего не мог изобрести иного, как заявиться в Москву и начать штурмовые походы по министерским кабинетам. На меня орали, перед моим носом потрясали бумагами, меня пугали неминуемой безработицей и обвиняли в сговоре с растленными закордонными спецслужбами – все было, кроме освобождения вверенного мне макаронного предприятия от никому не нужной спецпродукции. Я разозлился и написал заявление с просьбой уволить меня к чертовой матери по собственному желанию. К моему удивлению

– не уволили. Вызвали в отделанный деревом кабинет с ковровой дорожкой, где со вздохом произнесли два слова:

– Заставил задуматься.

Я промолчал.

– Словом, есть мнение.

Начальник замолчал многозначительно, а я продолжал молчать из упрямства. И перемолчал.

– Принято решение о разделе твоего предприятия на два самостоятельных, – с неохотой пояснил начальник. – Главное, увольнять никого не придется.

– Главное, чтобы мне макароны отдали, – сказал я. – У меня в ушах наросты от пальбы.

– А это уж ты с макаронниками договаривайся. Со своей стороны препятствий чинить не стану.

С макаронниками я договорился, поскольку мне вдруг повезло. В решающем чиновничьем кресле оказалось знакомое лицо – мой сокурсник по институту.

– Укажи в заявлении, что дает знать старая рана, полученная в Африке при выполнении особого задания родины.

– Так она же у меня в личном деле производственной записана.

– Если шеф спросит, объясню. Только не спросит никто, неинтересно. Пиши, пиши.

Я написал. Про аргументы и не спрашивайте, поскольку студенческий приятель обязался изложить их устно. Ну, а потому и писал я без всяких оглядок на логику, но весь-

ма злоупотребляя эмоциями. Вручил, он велел ждать. Я сел ждать, он явился через сорок семь минут и со вздохом протянул мне заявление.

– Результат превзошел.

– Какой результат?

– В уголке.

На моем заявлении в левом углу размашисто зияла резолюция: «Сердечный привет ангольскому интернационалисту! Сам такой и братанов своих не продаю».

И – начальственная закорючка.

– А результат что превзошел?

– Ты читай, читай, а я пока расскажу. Значит, подаю я ему твою ксиву, а сам бормочу что-то объяснительное. А он вдруг спрашивает: «Где твой дружок ранение получил?» – «В Африке», – говорю. «Где именно – в Африке? Африка большая». Ну, я в нашей военной географии не очень силен, замаялся, будто припоминаю. А он сам спрашивает очень даже заинтересованно: «Не в Анголе, случаем?» – «Точно! – радостно этак подхватываю. – В Анголе!» Заулыбался мой начальник: «Так я же слышал о нем! Лихой был хлопец!..»

И катает в уголке резолюцию.

– Ну, а результат-то где?

– Результат приказано передать устно. Ты принимаешь макароны, но в твоём административном и хозяйственном подчинении остаются все виды спецпродукции.

Вот вам и бурская пуля в заднице. Видит бог, если бы не

это неожиданное проявление ангольского братства, все дальнейшее пошло бы по иной тропиночке. И вам не пришлось бы читать эти страницы никогда в жизни.

Ну полный абзац! Пожал я приятелю руку, промычал что-то благодарственное и пошел в отдел кадров получать назначение на новую должность.

4

Словом, ехал избавиться от одного горба, а вернулся с двумя. Верблюд верблюдом вернулся.

Во всяком случае, плевался теперь соответственно. Но одно условие все же тогда для себя выторговал.

Дело в том, что, когда я еще общим производством командовал, заместителем моим числился некий Григорий Даниленко. А начальник местных чекистов как-то по пьянке признался мне с глаза на глаз, что Даниленко этот его сексот номер один. Не знаю, почему в тот момент на этого чекиста откровение напало: может, он меня за своего посчитал после путешествия в Африку, может, по какой иной причине, суть не в этом. Суть в том, что я тогда, как братан-анголец, потребовал убрать этого стукача от меня куда угодно и с любым повышением, только чтоб духу его в нашей Глухомани не было. И, представьте, согласился начальник и тут же подписал этому Даниленко новое назначение аж в город Юрьевец. Справедливость и у нас существует, если, конечно, опи-

рается на святое братство воинов-интернационалистов.

У меня, как вдруг выяснилось, оно опиралось.

Вместо Даниленко я попросил назначить моим замом по хозяйству Красавчикова Херсона Петровича. Да-да, Херсона Петровича. Непонятно? Тогда – абзац.

Признаться, имя его меня всегда удивляло, хотя, казалось бы, в нашей свободной до невозможности стране решительно все имена – свои и зарубежные, христианские и не очень, сочиненные и вычитанные в книжках – обладают абсолютно равными правами, это вам не чопорная Европа. Но спрашивать не решался, поскольку до сей поры близко мы не сходились и даже в одной бане не парились. Однако из его личного дела знал я, что у него родителей расстреляли по ленинградскому процессу, что он не хотел в детдом для детей врагов народа, а потому сбежал к тетке, которая его и вырастила. Но когда стали вместе работать, вместе законы идиотские обходить, вместе в баньке париться и шашлычком кимовским угощаться, спросил. Любопытство пересилило, что для русской души очень даже показательно, поскольку соответствует ей. Почему соответствует? Да потому, что любопытность требует опыта, а мы ему не доверяем, так как жизнь над нами чаще всего неприятные опыты ставит. А вот любопытство, которое не опыта требует, а чаще всего слухов, мы обожаем вследствие полной его безопасности.

Длинно и занудно? Прощения прошу, рука так распорядилась. А Херсон Петрович тем временем разъяснил мне за-

гадку своего таинственного имени.

Отец у него в Гражданскую натуральный город Херсон освобождал, неизвестно, правда, от кого. Но – дрался, живота не щадя, прежде всего за идею, которая потом его же к стенке и поставила. Но это – потом, а тогда орденом наградила. Орденом Красного Знамени. И в благодарность за лучший миг жизни своей он и назвал единственного своего сына Херсоном.

– Представляешь, как мне сложно в детстве приходилось? – невесело вздохнул Херсон Петрович, кратко изложив историю своего героического имени.

Это я себе хорошо представлял, а потому и спросил весьма бестолково:

– А почему не заменил? Это даже советская власть допускала, если основания казались ей серьезными. У тебя – серьезные.

– У меня – отец, а не основания, – хмуро пояснил новый зам.

Это мне понравилось; он вообще мне понравился при ближайшем рассмотрении. Только не любим мы почему-то рассмотрения глаза в глаза, нам за глаза куда привычнее и проще. На этом вся структура районных властей построена была.

В новом качестве я пошерстил свое ближайшее окружение, отдав своего шофера патронному начальству. Не потому, что он мне чем-то не угодил: нет, парень как парень, а

то, что при первом знакомстве запросто представился Вадиком, резануло слух, но как бы не слишком. Честно говоря, мне куда больше не понравились его уши: такое возникало ощущение, что он слушал не то, что я ему говорю, а нечто для меня неслышимое. Совсем как Гриша Даниленко, хотя уверен, что таких дураков никакие спецслужбы даже районного разлива на службу к себе не призывают. А вот ушам его я не верил, и тут уж ничего не поделаешь. От таких ушей лучше держаться подальше.

А к секретарше Танечке хотелось держаться поближе. Не подумайте, без всяких задних мыслей. Если честно, то я в ней никак не мог увидеть женщину просто потому, что все время видел рыжую конопатую девочку. Милую, заботливую, домашнюю, как кошка, исполнительную и всегда очень серьезную.

А главное, пожалуй, в том заключалось, что у меня внутри – иначе не скажешь – жило убеждение, что я ей жизнью обязан. Странно, потому что разумом-то я понимал, что преспокойно выжил бы и без ее посещения с кастрюлькой и авоськой, но ведь она пришла сама. Без приказа, без подсказки, без просьбы. Взяла и пришла. И кормила, и пот с лица моего вытирала, и даже говорила какие-то слова... Нет, не какие-то, а те самые, которые малышам мамы говорят на всех континентах и во все времена, начиная с Евы.

Мужчины не только не любят болеть, но и не умеют болеть. Не все, разумеется, но подавляющее большинство. И

когда заболевают, то нуждаются не столько в лечении, сколько в женской заботе. Нет, не в женской, это не точно. В материнской. И в Танечке я это материнство разглядел, а женщины так и не увидел.

Только ведь все мужчины – сироты до конца дней своих. Мать для них всегда больше даже самой любимой женщины, если в этой любимой они не почувствовали матери. А вот если любимая сочетается и то и другое, тогда мы, мужчины, с ней до золотой свадьбы доживаем при любых джигитовках судьбы. Потому что мама с нами при этих самых джигитовках. А с мамой – нестрашно, это спасательный круг, брошенный нам из детства, когда мы отправляемся открывать свои собственные Америки.

Танечка ничего вроде бы для меня не сочетала, но расстаться с ней я почему-то не хотел. Даже подумать об этом не мог, а потому и востребовал в свой кабинет одной из первых.

– Я тебе еще не надоел?

Танечка вмиг стала пунцовой, отчего все ее веснушки стали еще прекраснее. И села на стул с такой стремительностью, будто у нее подкосились ноги.

– Я хочу, чтобы мы продолжали вместе работать. И больше скажу. Я даже представить себе не могу, что на твоём месте может оказаться кто-то другой.

Танечка как-то очень странно посмотрела на меня и тихо сказала:

– Я могу начать думать.

– Начинай, – сказал я. – Приказ я подписал, завтра жду на рабочем месте.

Глава восьмая

1

Если бы я знал, где окажется мое рабочее место через тридцать шесть часов после этого разговора! Черт-те где оно оказалось. Там, где не было ни работы, ни места.

Вот теперь можно и перекурить.

Вечером – это, стало быть, через сутки после милого разговора с милой Танечкой – мне на работу позвонил Сомов. Майор из угро.

– Тимофеич?

Не беспокойтесь, номером он не ошибся. Просто когда звонил по телефонам служебным, употреблял шифр, так как свято был убежден, что в нашей стране все телефоны прослушиваются. Во всяком случае, все служебные, и мы с этим не спорили, поскольку столь же свято верили, что майору Сомову было виднее. Итак:

– Тимофеич? Срочно скажи Ивану (шифр), чтобы он как следует кладовку проверил. Кошечкой подскользнулся и в лужу сел, под шлангом ледяной водой отмывается.

Поняли? А я немедленно набрал номер начальника железнодорожных мастерских Вахтанга Кобаладзе. Он у нас проходил под нейтральной кличкой «Иван». Для полного замут-

нения телефонных прослушек. К счастью, Вахтанг оказался на службе, и я сказал:

– Жди на месте, но всех отправь домой.

Бросил трубку и побежал, куда звонил. Сказать, что я разобрался в зашифрованном сообщении угроначальника, не берусь. Я не разбирался – я почувствовал, что Вахтангу грозит какая-то неприятность. А потому и бежал, сознательно забыв о личном транспорте. Уж этому-то нас советская власть обучила.

Вахтанг ждал скорее в недоумении, нежели в тревоге. Но как только я ему выпалил обрывки разговора с начуagro, тревога его почему-то исчезла, а недоумение возросло.

– Кощей?.. Что значит – Кощей?

– В сказках. Жадный такой, под себя гребет. Скупой, словом.

– А, так то – Скупцов!.. – догадливо сказал Вахтанг. – Есть у меня такой. Только он не кладовщик никакой, он помощник мой по обеспечению...

– Где его кладовка?

– Нет у него никакой кладовки. У него – выгородка такая.

Он там особенно ценные инструменты...

– Пошли в выгородку.

– Зачем?

Порой мой друг бывал на редкость бестолков. Я разозлился:

– Шмон!.. Переводить?

– Не надо. – Вахтанг обиделся. – Сам пойму.

И пошел вперед. Вскрыли мы дверь этой выгородки и прямо в центре помещения увидели два здоровенных заводских мешка с сахаром. Вахтанг очень удивился:

– Зачем сахар, слушай?

– Для варенья, – автоматически пояснил я, соображая, что нам делать с этим подарком районного уголовного розыска. – Вот до чего доводит борьба с народным удовольствием. Теперь это удовольствие тебе боком выйдет, если его найдут здесь с понятами.

Вахтанг воспрял, полусонное полублаженство разом его покинуло, как только я упомянул о понятах. Даже глаза блеснули искрой некоторого озарения.

– Тогда так. Один мешок ты, один мешок – я.

– И куда?

– Подальше.

Адрес был на редкость точным, а мешки – на редкость тяжелыми. Но это все я, как водится в России, узнал с опозданием. А тогда мы выволокли мешки из его конторы – благо вечер был темным, – и я спросил, порядком задыхаясь:

– Сколько в нем?

– Семьдесят пять. Оттащишь прямо по путям.

Вахтанг – а, надо признать, он был силен, – поднатужившись, поднял мешок и взвалил его на мои плечи. Я не просто присел – это, так сказать, естественно, – я, присев, почему-то побежал. Ну, теперь-то понимаю почему. Когда на вас

наваливают тяжесть в семьдесят пять килограммов, а все ваше естество определяет вес этой тяжести не менее чем в сто с походом, ваш организм стремится к самосохранению и – бежит. Из-под груза, а он – на плечах. Значит, бежит вместе с грузом, поскольку податься некуда. Вероятно, по этой причине ослик Санчо Пансы и бегал, когда на него усаживался хозяин, как утверждает Сервантес. И я, стремясь из-под тяжести, помчался с мешком на плечах. Прямо по путям.

Точнее – между ними, но мне от этого легче не было. Инстинкт, заложенный в любое существо ради спасения, гнал меня вперед просто потому, что остановиться я не мог, а сбросить груз на бегу тоже не мог, так как тут уж вмешивалось нечто человеческое: а как я его потом подниму? И это человеческое вступало в конфликт с естеством, результатом чего и являлся мой бег.

Словом, полный абзац.

Оборвался этот абзац криком. Нашим, родным до боли: – Стой!.. Стой, стрелять буду!..

Может быть, я бы и остановился, я – человек законопослушный. Но мешок на моей спине явно имел какие-то свои взгляды на закон, а поскольку в данный момент я подчинялся его инерции, то при всем, как говорится, желании...

А он и вправду пальнул. Не мешок, конечно, а страж с карабином моего выпуска и отстрела. Грохот и толчок в спину слились в единый коктейль, но толчок был покрепче, и я полетел носом в то, что всегда у нас рядом с рельсами, как бы

при этом железная дорога ни называлась. Уточнять не буду, не до этого. Пуля (если, разумеется, она была) застряла в са-харе, а я – под мешком.

Как я из-под него выцарапался, не помню, хоть убейте. По-моему, при помощи бдительного железнодорожного стража, который в погоне за мной наткнулся на мешок, под которым я корчился. Наткнулся, грохнулся, сдвинув с меня груз и подвигнув на активные действия. Вскочить сил у меня не нашлось, но я откатился на путь и замер между рельсами. А когда охранник, матерясь во всю глотку, поднялся и кинулся почему-то вперед, я тоже, естественно, поднялся, но дунул назад.

Вокруг уже шла несусветная кутерьма. Где-то орали, кричали, клацали затворами, светили фонарями и – бегали. И спасло меня от крупных неприятностей интуитивное чувство, что каждому советскому человеку свойственна стойка «руки по швам». Основываясь на нем, я, кое-как в темноте отряхнувшись, выпрямился в полный рост и заорал начальственным баритоном:

– Что за стрельба?.. В чем дело?..

Советский человек с детского сада постигает, что орать без видимых причин имеет право только начальник. Это постижение с возрастом преобразуется в безусловный рефлекс, который и можно представить зрительно, как «руки по швам». Вот вся железнодорожная стража и стала «руки по швам», а опомниться я им не дал:

– Кто стрелял? Фамилии! Доложить! Немедленно! Где начальник караула?

Ну, и тому подобные словосочетания, привычные для советского уха. Однако малость, видимо, перебрал, так как в промежутке, когда я раздувал легкие для очередной порции воздуха ради очередной начальственной тирады, слышался голос из сумрака:

– А вы кто такой? Извиняюсь, конечно...

И совсем близко от меня обрисовалась некая недоверчивая фигура. Я бы влип или опять ударился бы в малоперспективные бега. Но неожиданно меня поддержал тоже начальственный голос с легким грузинским акцентом:

– Товарищ из райкома. А я – начальник мастерских. Мы совещались, понимаешь, а тут – стрельба...

– Никак товарищ Кобаладзе?

Из сумрака материализовался Вахтанг, стал рядом со мной и подтвердил:

– Товарищ Кобаладзе. В чем тут вопрос?

– Расхититель государственной собственности, товарищ Кобаладзе. На окрик не остановился, пришлось стрелять. В воздух. Он мешок бросил, а сам скрылся.

– Так составьте протокол, – сурово сказал Вахтанг. – И объяснительную записку для непосредственного начальника. Поиск похитителя продолжить в направлении задержания.

Больше всего мы не любим оставлять письменные свиде-

тельства: они суживают поле для сочинительства. Поэтому озадаченные охранники сразу примолкли. Мы намеревались тихо удалиться в мастерские, как вдруг прозвучал новый голос:

– А, товарищи начальники!

К нам, чуть покачиваясь, подходил главный редактор нашей местной газеты Метелькин. Он был в радостном подпитии, а в этом состоянии его несло без всякого удержу.

– Друг! Лучший друг юности моей комсомольской! Он спас меня, мой Ихтиандр, вытащил из волжских пучин, я ему – до гроба! Он назначен начальником нашей Сортировочной, и я его – р-рекомендую. Конечно, добро должно быть с кулаками, но их надо разжимать, чтобы пожалть руку друга. Разве я не прав?

Метелькин громко икнул, а друг пожал нам руки, сказав:

– Рад. Маркелов. Вроде стрелял кто-то?

– Охрана по расхитителям государственной собственности, – пояснил Вахтанг. – Сейчас, возможно, приведут.

– Ко мне в кабинет, – строго сказал Маркелов.

– Приложение выпускать буду, – вдруг объявил Метелькин. – Еженедельное. Название – «Смейте!». От глагола «не сметь». Так сказать, вопреки.

– Балабол, – с усмешкой проворчал Маркелов.

– В начале – эпиграф, – воодушевленно продолжал наш главный и единственный редактор на всю Глухомань. – Предположим так: «Смерть – не сметь! Мы жизни рады. С при-

ветом к вам, мы ждем награды!» Пошли коньячку выпьем ради встречи с салютом.

Мы мягко отказались, и комсомольские друзья отправились допивать до нормы. Когда болтовня Метелькина заглохла, я с чувством сказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.